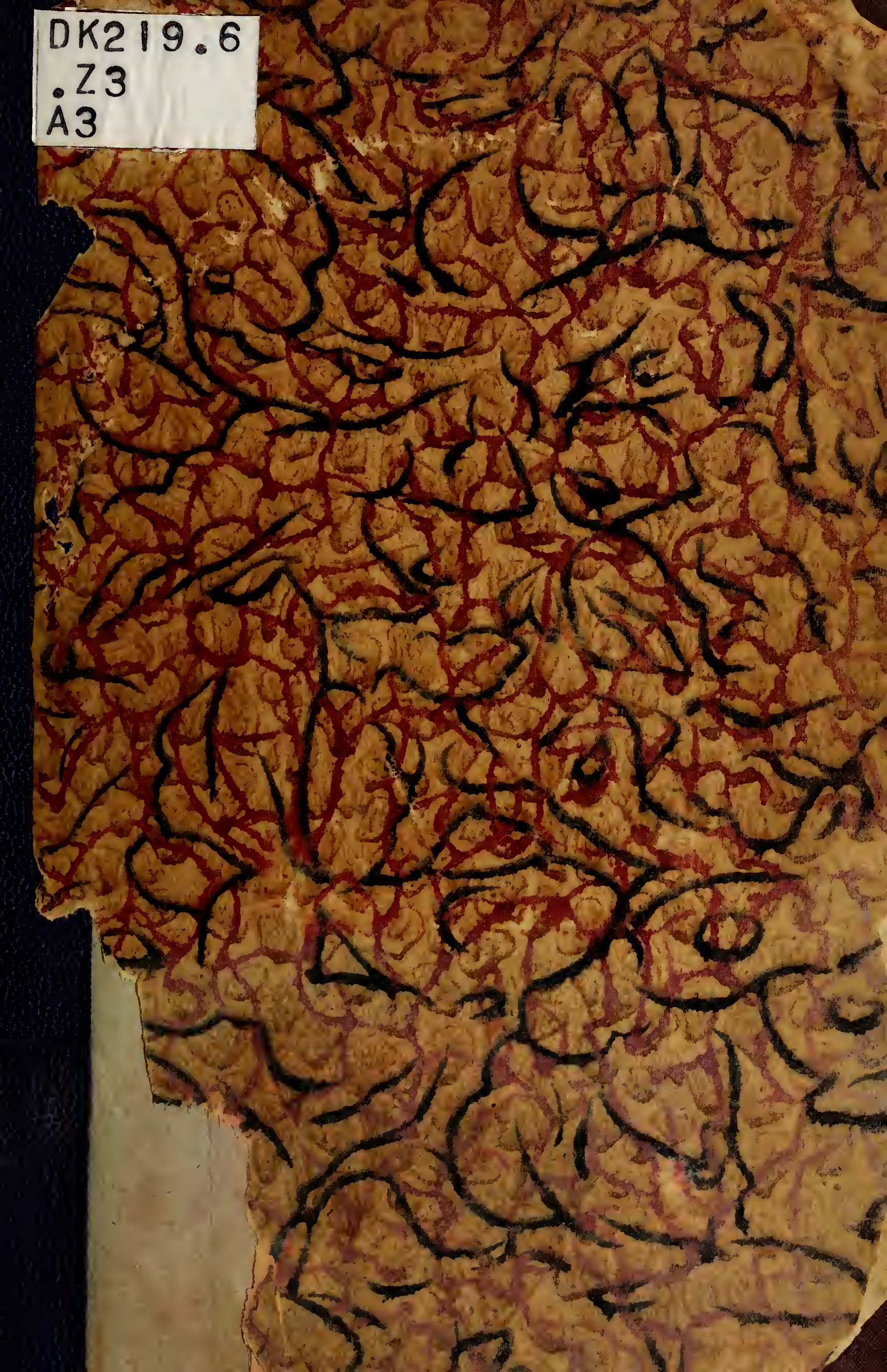

DK219.6
.Z3
A3


LUX
LIBERTAS

В. И. ЗАСУЛИЧ

РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ
ИЗ
БУРЖУАЗНОЙ СРЕДЫ

С биографическим очерком, написанным

Л. Г. ДЕЙЧЕМ,

и

портретом В. И. ЗАСУЛИЧ



ПЕТЕРБУРГ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1921

Р. В. Ц. Петербург

Гиз, № 533. Отпечатано 20.000 экз.

Первая Государственная Типография, Гатчинская, 26.



ВЕРА ИВАНОВНА ЗАСУЛИЧ.

Вера Ивановна Засулич.

(Род. 29 июля 1849 г., сконч. 8 мая 1919 г.)

Русское революционное движение последнего полустолетия выдвинуло, как известно, длинный ряд замечательных женщин; достаточно назвать Софью Перовскую, Софью Лешерн фон-Герцфельд, Татьяну Лебедеву, Гесю Гельфман, Веру Фигнер, Екатерину Брешковскую, между ними социал-демократка Вера Ивановна Засулич занимала одно из первых мест. Более того: без малейших преувеличений можно сказать, что Вера Ивановна была одной из самых выдающихся социалисток не только в России, но и во всем цивилизованном мире. На-ряду с огромными умственными дарованиями и изумительными нравственными свойствами, ей были присущи также: необыкновенная скромность и застенчивость, доходившие до отвращения чем-либо выдвигать себя, быть на виду. Она предпочитала оставаться всегда незамеченной, в тени, и только этими чертами ее характера следует объяснить, что трудящимся массам мало или вовсе неизвестно ее имя, в то время, как многих, значительно во всем ей уступавших, женщин все знают.

Вера Ивановна была одним из самых близких моих друзей; я знал ее в течение сорока четырех лет; мне хотелось бы, поэтому, дать читателям живой, ясный образ этой удивительной женщины. Но, к крайнему моему сожалению, я не обладаю необходимыми для этого дарованиями; к тому же, я ограничен небольшими размерами этой статьи. Отсылая, поэтому, интересующихся Верой Засулич к «профилям», набросанным Сергеем Кравчинским-Степняком в его книжке «Подпольная Россия», я постараюсь дать здесь то, что в моих силах.

* * *

Столбовая дворянка, дочь капитана, Вера Ивановна родилась в принадлежавшем ее матери небольшом имении, находившемся в Гжатском уезде Смоленской губ. Первоначальное образование,— читать по-русски, молитвам, арифметике, а также болтать по-французски, — она получила дома, у старушки-гувернантки. Все детство и отрочество она провела у своих теток, в деревне Бяколово (того же уезда), что в сильной степени способствовало укреплению ее и без того от природы здорового организма. Об этом периоде своей жизни Вера Ивановна до самой своей смерти сохранила наиболее живые воспоминания, в чем убедятся читатели из ее личных об этом набросков [1]).

Лет пятнадцати ее повезли в Москву, где поместили в частном пансионе. Немногому в те отдаленные времена—в середине 60-х г.г.—учили в женских учебных заведениях,—в институтах и пансионах,—гимназий и высших курсов тогда еще не было. Но недочеты в своем образовании Вера Ивановна сама пополняла усердным чтением книг и, особенно, журналов. Кроме хорошего, крепкого сложения, природа наделила ее большими способностями, трудолюбием и любознательностью. К тому же юность Веры Ивановны пришлась в один из наиболее интересных и замечательных моментов в русской истории,—в «эпоху великих реформ», начавшуюся, как известно, с освобождения крестьян.

Из книг и статей популярных тогда критиков и публицистов,— Чернышевского, Добролюбова и др., из бесед с другими и из посещений всевозможных заседаний, лекций, обществ и т. п.,— Вера Ивановна очень рано прониклась передовыми взглядами и стремлениями. Благодаря усиленному и серьезному чтению, она в 17—18 лет понимала многое лучше, чем значительно более ее старые мужчины.

В виду распространенного в то время среди молодежи из привилегированных слоев населения стремления жить на собственный счет, чтобы не эксплоатировать рабочий класс, Вера Ивановна, подобно многим своим сверстникам, по окончании пансиона, отправилась в Петербург, где поступила в переплетную мастерскую, основанную,—как это тогда часто практиковалось,— на артельных началах. Одновременно она занималась обучением трудящихся грамоте в одной из очень распространенных тогда бесплатных воскресных или вечерних школ для народа. Случилось так, что, благодаря этим занятиям, Вера Ивановна познакомилась с народным учителем Сергиевского приходского училища, Сергеем Нечаевым, вскоре затем прославившимся на всю Россию.

---

[1]) См. «Былое», 1919 г., № 14.

Мало образованный, но обладавший изумительной, железной волей, решительностью и предприимчивостью, этот молодой человек, как известно, задумал произвести в России социальную революцию, и это в такое время, когда в стране господствовала сильнейшая реакция, усилившаяся после совершенного Каракозовым покушения на Александра II (4 апр. 1866 г.). Для осуществления своего намерения Нечаев широко применял принцип—«цель оправдывает средства». Он обладал даром увлекать, подчинять себе людей, даже значительно более старых и неизмеримо более образованных, чем он сам был: известно, что знаменитый родоначальник анархии, Михаил Александрович Бакунин, подпал под его влияние.

Этот-то замечательный революционер, познакомившись с Верой Ивановной Засулич, стремился привлечь и ее на свою сторону.

Чтобы дать представление о тогдашних взглядах и настроении Веры Ивановны, приведу следующую выдержку из оставленных ею отрывков своих воспоминаний, найденных мною среди ее бумаг.

«Еще до «революционных мечтаний»,—сообщает она,—даже до пансиона я строила глупые планы, как бы мне избавиться от того, чтобы стать современем гувернанткой [1]). Мальчику в моем положении было бы, конечно, гораздо легче: для его планов будущего широкий простор... И вот этот далекий призрак революции сравнял меня с мальчиком: я могла мечтать о «деле», о «подвигах», о «борьбе»... «в стане погибающих за великое дело любви». Я жадно ловила все подобные слова в стихах, в старинных песнях... «Скорей дадим друг-другу руки, и будем мы питать до гроба вражду к бичам земли родной». Я находила в стихах иногда и там, быть-может, где в мыслях автора было другое, находила у своего любимого Лермонтова и, конечно, у Некрасова.

«Откуда-то попалась мне «Исповедь Наливайки» Рылеева и стала одной из главных моих святынь: «известно мне: погибель ждет того, кто... и т. д.». Всюду, всегда, все героическое, вся эта борьба, восстание было связано с гибелью, страданием. «Есть времена, есть целые века, когда ничто не может быть прекрасней, желанней тернового венка». Он-то и влек к этому «стану погибающих», вызывал к нему горячую любовь. И несомненно, что эта любовь была сходна с той, которая явилась у меня к Христу, когда я в первый раз прочла Евангелие. Я не изменила ему,—он самый лучший: он и они достаточно хороши, чтобы заслужить терновый венец, и я найду их и постараюсь на что-нибудь пригодиться в их борьбе. Не сочувствие к страданиям народа толкало меня в

[1]) На этом настаивали ее родственники. *Л. Д.*

«стан погибающих»,—никаких ужасов крепостного права я не видела, а к бедным я сперва поневоле относилась с горькой обидой, потом чуть не с гордостью сама себя причисляла, а что пока живу, как богатая, это я своей бедой, а не привилегией считала».

После этого признания Веры Ивановны, можно было бы подумать, что она немедленно поддалась доводам Нечаева и пошла за ним. Но, рядом с стремлением «в стан погибающих», у Веры Ивановны в сильной степени развит был также здравый смысл, вызывавший скептическое отношение к планам, казавшимся ей неосуществимыми, фантастическими. Хотя при знакомстве с Нечаевым ей было только 19 л., она все же не поверила в возможность тогда произвести в России революцию. Вот что Вера Ивановна сообщает в своих посмертных записках о своем ответе Нечаеву: «Мне так тяжело, так тоскливо было говорить свои: «невероятно это», «не знаю»... Я видела, что он говорит очень серьезно, что это не болтовня о революции: он будет делать и может делать... Служить революции—величайшее счастье, о котором я только смею мечтать, а, ведь, он говорит, чтобы меня завербовать, иначе и не подумал бы..... И что я знаю о народе, а он сам из рабочих.... Быстро мелькали в голове взволнованные мысли».

Вера Ивановна отказалась от предложения Нечаева поехать с ним за-границу, где он собирался обмануть Герцена, Огарева и Бакунина, будто его делегировало к ним существующее в России сильное революционное тайное общество. Но она согласилась, чтобы он пользовался ее адресом для сношений с другими лицами. Перехваченное письмо Нечаева, посланное им на адрес Веры Ивановны, повело к ее аресту со всеми за этим последствиями.

После почти двухлетнего заключения в Петропавловской крепости, Вера Ивановна, за отсутствием других улик кроме письма Нечаева, была освобождена от суда, но зато отправлена была административно в ссылку.

Целый ряд лет провела Вера Ивановна в разных захолустьях севера России, вдали от родных и близких, перенося всевозможные лишения и неприятности. Эта жизнь не могла, конечно, вызвать в молодой впечатлительной девушке расположения к господствовавшему строю. Наоборот: ссылка еще более закалила Веру Ивановну, возбудив в ней личную ненависть к правительству, которое губит молодежь из-за ничтожных поводов, а то и без всякого.

Только в 1875 г. Вера Ивановна получила разрешение переехать в Харьков для поступления на фельдшерские курсы. Там

ей удалось сблизиться с некоторыми революционерами, после чего она решила примкнуть к возникшему в начале 70-х годов движению, выразившемуся в «хождении в народ». С этой целью в конце лета 1875 г. она отправилась в Киев, где и вступила в так-называемый «кружок бунтарей», впоследствии подробно описанный Влад. Дебагорием-Мокриевичем в его «Воспоминаниях».

Подбор большинства членов этого кружка был довольно удачный: среди них имелось несколько очень крупных людей, что вскоре они и показали на деле. И, несмотря на присущие Вере Ивановне скромность, застенчивость и нелюбовь выдвигаться вперед,—почти все мы, члены этого кружка, с течением времени признали особенно выдающиеся умственные и моральные ее качества и высоко оценили их. Но лишь немногим из ее сочленов было известно, что Вера Ивановна, кроме ума, большого развития, доброты и безграничной преданности революционному делу, обладает также свойствами, присущими избранным натурам, истинным героям. Об этом знали только трое ее закадычных друзей—Мария Коленкина, Яков Стефанович и я.

Названный бунтарский кружок задался, как известно, целью вызвать бунт среди крестьян Чигиринского уезда Киевской губ., путем оглашения по селам и деревням подложного манифеста от царя, будто бы призывающего население восстать против дворян, чиновников и, вообще, против всех угнетателей народа. Но по разным причинам, о которых здесь не могу распространяться, кружок этот распался, не сделав ни малейшей попытки осуществить свой план [1]). После этого Вера Ивановна вместе с Марией Коленкиной отправилась в Петербург, где ей предстояло сыграть никем не предполагаемую, изумительную роль в русском революционном движении.

* * *

Прожив некоторое время в Петербурге, Вера Ивановна отправилась к своей сестре Екатерине Ивановне Никифоровой, жившей с мужем и детьми в деревне. А в это время, т.-е. летом 1877 г., в доме предварительного заключения случилось ужасное происшествие. Всемогущий ген. Трепов, градоначальник столицы, приказал подвергнуть телесному наказанию заключенного в этой тюрьме политического каторжанина Боголюбова-Емельянова за то, что, при вторичной встрече с ним во дворе, он не снял шапки. Эта жестокая расправа вызвала взрыв негодования со стороны много-

---

[1]) Не следует смешивать этот кружок с кружком Як. Стефановича, организовавшего тайное общество среди крестьян того же уезда.

численных товарищей Боголюбова по заключению, а также и среди всех находившихся тогда на воле революционеров, решивших отомстить Трепову.

Хотя цензура настрого запретила печати касаться этого происшествия, слух о нем все же быстро распространился в обществе. Дошел он и до Веры Ивановны, вызвав у нее такие же чувства негодования, как у всех передовых людей.

Боголюбова Вера Ивановна лично не знала, но ей, с юных лет вынесшей всевозможные мытарства и страдания из-за административного произвола, было легче, чем кому-либо другому, понять все испытанные этим невинным человеком страдания [1]). Решение расправиться с градоначальником Вера Ивановна приняла только осенью, когда, по возвращении в Петербург, узнала все возмутительные подробности расправы Трепова с Боголюбовым и с его товарищами по заключению. Тогда же она убедилась, что революционная организация «Троглодитов» (впоследствии «Земля и Воля»), собиравшаяся расправиться с градоначальником, очень медлит с осуществлением этого намерения, откладывая его с месяца на месяц.

Не буду здесь останавливаться на том, как Вера Ивановна осуществила задуманное ею покушение на Трепова,—об этом имеются подробные описания во многих произведениях. Приведу только небольшую выдержку из посмертных ее воспоминаний о том, что произошло в приемной градоначальника после произведенного ею выстрела,—об этом нигде еще не упоминалось.

«Вдруг все задвигалось: просители разбегались, чины полиции бросились ко мне, схватили с двух сторон:

— «Где револьвер?

— «Бросила,—он на полу.

— «Револьвер, револьвер отдайте,—продолжали кричать, дергая в разные стороны.

«Передо мной очутилось существо... глаза совершенно круглые, из широко раскрытого рта раздается не крик, а рычанье, и две огромные руки со скрюченными пальцами направляются мне прямо в глаза. Я их зажмурила из всех сил, и он ободрал мне только щеку. Посыпались удары,—меня повалили и продолжали бить... я не чувствовала ни малейшей боли, чувствовала удары, а боли не было. Я почувствовала ее только ночью, когда меня заперли, наконец, в камере.

— «Вы убьете ее?

---

[1]) Боголюбов и на каторгу был приговорен без всякого основания, по жестокому стечению неблагоприятных обстоятельств, так как лично он не участвовал в демонстрации на Казанской площади (6-го декабря 1876 г.).

— «Уже убили, кажется.

— «Так нельзя: оставьте, оставьте,—нужно же произвести следствие.

«Около меня началась борьба: кого-то отталкивали... Мне помогли встать и усадили на стул».

Это возмутительное избиение не было неожиданным фактом для Веры Ивановны: в своих воспоминаниях она сообщает, что предвидела его и тем не менее решилась и это перенести. Не удивительно, поэтому, что произведенное ею покушение на Трепова вызвало у всех беспристрастных и честных людей не только России, но и всего цивилизованного мира, изумление, восторг и преклонение пред этой героической девушкой. Зато, наоборот, в реакционном лагере раздались крики бешеного возмущения. Не говоря уже про «Московские Ведомости» Каткова и т. п. органы печати.

Суд присяжных, состоявших из самых заурядных обывателей,—мелких чиновников, купцов и служащих, как известно, вынес Вере Засулич оправдательный приговор, что вызвало еще более сильный восторг, чем самый выстрел, у одних, и, наоборот, безграничное негодование среди всех пресмыкавшихся перед властями [1]).

После этого Вера Ивановна стала самым популярным человеком во всем мире: имя ее долгое время не сходило со столбцов прессы на всех языках; увидеть ее добивались самые знаменитые современники и т. д. Между тем царь, крайне недовольный ее оправданием, отдал приказание вновь арестовать ее и, отменив приговор присяжных, судить ее вторично. По счастию, Вере Ивановне удалось скрыться сперва в Петербурге, а затем—за-границу.

* * *

Недолго прожила она в эмиграции.

В разных концах России социалисты стали расправляться со шпионами, с наиболее жестокими жандармами, прокурорами, должностными лицами, оказывать вооруженные сопротивления при арестах и т. д.

Но год с чем-то спустя, после оправдания ее судом, ей, к великому ее огорчению, пришлось убедиться, что насильственные расправы революционеров приняли такие размеры и характер, что они совершенно исключали возможность продолжать какую-либо другую социалистическую деятельность,—пропаганду, агитацию и подготовку восстаний среди трудящихся масс.

---

[1]) См. Воспоминания С. Глаголя: «Процесс первой террористки», «Голос Минувшего», 1918 г., № 7—9.

После покушения Соловьева на Александра II, усилившего и без того уже значительную в стране реакцию, еще более затруднена была деятельность в народе. Тогда, как известно, члены самой обширной революционной организации—общества «Земля и Воля» поделились на две фракции: на оставшихся верными старой программе народников, считавших необходимым ограничить террористическую деятельность только необходимыми актами самозащиты, продолжая попрежнему сосредоточивать главные силы и внимание на деятельности среди крестьян и рабочих, и на сторонников нового способа борьбы—на террористов, доказывавших, что путем цареубийств можно добиться осуществления в России политических свобод. Во главе первой фракции стоял, как известно, Г. В. Плеханов, а вдохновителем второй был А. Ив. Желябов. Общество «Земля и Воля» разделилось тогда на «Черный Передел» и «Народную Волю».

К первой фракции примкнул я со Стефановичем, а также и инициаторша террора—Вера Ивановна. Она, таким образом, стала противницей ею же вызванного нового направления в революционной борьбе. Но Вера Ивановна всегда была последовательна, искренна и решительна в своих взглядах и поступках: увидев вред для общего дела от принятых новых форм революционной борьбы, она без малейших колебаний открыто признала это. Так поступала она в течение всей своей полувековой революционной деятельности.

Не могу здесь остановиться сколько-нибудь подробно на роли Веры Ивановны в «Черном Переделе». Скажу лишь, что одно уже присоединение ее к этой, от самого момента своего возникновения, очень слабой организации являлось чрезвычайно благоприятным для всех нас, членов «Черного Передела», фактом, вызывавшим изумление, недоумение и многочисленные толки: «если сама В е р а З а с у л и ч восстает против террора, значит этот прием борьбы не хорош»,—приходилось тогда нередко слышать.

Но, как известно, одного этого обстоятельства было недостаточно для того, чтобы удержать большинство тогдашней революционной молодежи от увлечения новым способом борьбы, и в то время, как число членов организации «Народной Воли», а также «сочувствующих» и лиц, готовых всячески помогать ей, быстро увеличивалось, наоборот, отношение к нам, чернопередельцам, со стороны крайних элементов и, вообще, передовой части общества, в лучшем случае, было безразличное, равнодушное. Присоединившийся к этому разгром нашей типографии, вследствие выдачи задержанного полицией нашего наборщика и арест многих членов привели вскоре к почти полной гибели организации «Чер-

ный Передел». Незадолго до этого,—в январе 1880 г., Вера Ивановна, вместе со мною, Стефановичем и Плехановым вновь уехала за-границу, в уверенности, что увлечение передовой молодежи террором вскоре пройдет и тогда возможно будет снова, вернувшись в Россию, заняться народнической деятельностью. Но судьба решила иначе.

* * *

В последовавшие затем годы нашего совместного пребывания в эмиграции, под влиянием ознакомления с западно-европейскими условиями жизни, а также с произведениями Маркса и Энгельса, произошло, как известно, радикальное изменение в наших воззрениях: из сторонников Бакунина мы—Плеханов, Засулич, Аксельрод, Игнатов и я—превратились в марксистов и основали, осенью 1883 г., первую русскую социал-демократическую группу «Освобождение Труда».

Вера Ивановна явилась одним из наиболее деятельных членов этой маленькой ячейки. Ни от какой работы, как бы тяжела или неприятна ни была она, Вера Ивановна никогда не отказывалась: она занималась набором в типографии, хлопотала о добывании материальных средств сперва, с 1881 по 1883 г., для революционного «Красного Креста», затем с 1884 года для группы «Освобождение Труда». При ее застенчивости, обращения к кому бы то ни было с просьбами о пожертвованиях, хотя бы и для общего дела, являлись с ее стороны особенно тяжелой жертвой. Но с момента возникновения группы «Освобождение Труда» главное свое внимание Вера Ивановна сосредоточила на умственных, теоретических занятиях.

Ей шел четвертый десяток лет, когда она впервые познакомилась с учением Маркса и Энгельса; почти пятнадцать лет минуло тогда, как она привлекалась, в качестве революционерки, перенесла всевозможные мытарства, лишения и страдания; стояла в рядах «бунтарей» и пр., тем не менее, учение Маркса и Энгельса вызвало у нее такой порыв энтузиазма, какой бывает лишь у очень юных и неопытных адептов нового направления. С неимоверным пылом и страстью принялась Вера Ивановна за расширение своих знаний, которые и до того были уже довольно значительны. А потом, и—это особенно характерно—почти сорока лет от роду она впервые взялась за перо, в качестве писательницы, так как до конца 80-х годов она занималась лишь переводами с иностранных языков. Как литератор, Вера Ивановна сразу заняла очень видное место в рядах нашей пишущей братии: статьи ее выделялись основательностью знаний, глубиной и оригинальностью мысли и манерой изложения.

Я не могу, конечно, войти здесь в более подробный разбор литературной деятельности Веры Ивановны, продолжавшейся целых тридцать лет,—вплоть до самой ее кончины,—это, надеюсь, будет сделано впоследствии, когда появится в печати полное собрание ее сочинений [1]). Одно могу сказать: Вера Ивановна являлась не только одной из редких по нравственным свойствам женщин, но также одной из наиболее образованных и талантливых писательниц среди социал-демократов.

К сожалению, скромность и застенчивость помешали ей, наряду с литературными дарованиями, развить в себе также и способность устно излагать свои мысли. В небольшом кругу собеседников,—кем бы они ни были,—она всегда охотно, красочно, горячо и оригинально умела отстаивать свои воззрения. Но в сколько-нибудь значительном собрании, а тем более в официальном, состоявшем хотя бы и из немногих лиц, она смущалась, робела и буквально теряла способность произнести даже несколько фраз. За всю ее полувековую революционную деятельность единственный раз произнесла она небольшую речь в клубе «Рабочее Знамя», где первого апреля 1918 г. собралось несколько сот товарищей чествовать сорокалетие ее оправдания присяжными заседателями. Но едва ли присутствовавшие на этом юбилее товарищи представляли себе, сколько усилий над собою стоило ей это первое и вместе последнее выступление.

Нет никакой возможности, хотя бы в самых беглых чертах, даже только перечислить наиболее крупные факты из деятельности Веры Ивановны в рядах нашей партии: для этого необходимо было бы обозреть всю историю русской социал-демократии от момента ее возникновения вплоть до смерти Веры Ивановны,—следовательно, за период, охватывающий более 35-ти лет. Ограничусь поэтому только упоминанием, что почти во всех многочисленнейших перипетиях, пережитых нашей партией, Вера Ивановна принимала то или другое участие.

* * *

В этом кратком наброске я совершенно не коснулся частной жизни Веры Ивановны, что также потребовало бы много места. Надеясь сделать это современем, я пока ограничусь сообщением, что и по образу жизни, по привычкам, манерам, обстановке

---

[1]) В 1906—7 г.г. в издании г-жи О. Руттенберг появилось два тома, в которые вошло далеко не все написанное Верой Ивановной. Кроме многих статей, появившихся после указанного года в печати, среди ее бумаг я нашел не мало заметок, воспоминаний и проч.

квартиры и т. д. Вера Ивановна также являлась одним из наиболее своеобразных, оригинальных людей. Решительно все в ее частной жизни было необычно, не так, как у всех остальных людей, почему всюду, где она жила — в России и, особенно, в Западной Европе, — она вызывала изумление, а то и возмущение или даже ужас со стороны квартирных хозяек, соседок и т. п. люда.

Очень добрая по характеру, совершенно равнодушная к своим удобствам, материальным лишениям и страданиям, Вера Ивановна всегда проявляла изумительную чуткость и отзывчивость к малейшим лишениям ближнего, кто бы он ни был. Чрезвычайно строгая к себе самой и почти всегда неудовлетворенная своей работой для общего дела, Вера Ивановна умела правильно оценить усилия и способности других лиц, причем склонна была делать это в лучшую сторону. Как бы отрицательно ни относилась она к поведению некоторых товарищей, она никогда не прибегала к резким выражениям и эпитетам и лишь в самых исключительных случаях давала тому или другому заведомо нехорошему человеку меткую ироническую кличку.

Еще одной чертой Вера Ивановна отличалась от других людей: в каком бы безвыходном материальном положении ни находилась она, — а ей случалось, и нередко, сидеть буквально без пищи, — она никогда никому, даже самым близким людям, не сообщала об этом, постоянно отклоняла их предложения и всегда довольствовалась очень малым.

* * *

По совершенно независевшим от Веры Ивановны обстоятельствам, ей и умереть пришлось в очень тяжелых условиях.

В течение почти десяти лет она прожила в «Доме Литераторов» (на Набережной Карповки), откуда, как она говорила, желала, современем, быть переселенной на «Литературные Мостки» (на Волково кладбище); у нее было своего рода суеверное опасение, что с переселением из этого насиженного ею места на Карповке она непременно умрет. Между тем случилось так, что ей пришлось зимой 1918—19 г.г. покинуть свою комнатку в «Доме Литераторов» и расстаться со своим любимым умным котом. По счастью, жившие на том же дворе ее хорошие знакомые, сестры Мякотины, приютили ее у себя на квартире. Все же это вынужденное перекочевывание в зимнюю стужу в сильнейшей степени разогорчило и расстроило Веру Ивановну, что не в малой степени подействовало на ее физическое состояние. Врач, т. Лукомский, определив у нее воспаление легких, нашел невозможным

оставить ее в неприглядной, неуютной комнате, которую она занимала, почему перевез ее в Рождественскую больницу, которой заведывал. Вместе со своей женой, также врачом, он постарался обставить Веру Ивановну наивозможными в то время удобствами и согласился выписать ее только после того, как убедился в полном, как казалось, ее выздоровлении, а также после самых настойчивых ее требований отпустить ее к себе на квартиру. Но, спустя короткое время, Вера Ивановна, в конце апреля, вновь схватила воспаление, что вскоре затем, утром 8 мая, свело ее в могилу. До последнего вздоха она сохранила полное сознание и интерес к окружающему.

Л. Дейч.

РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ ИЗ БУРЖУАЗНОЙ СРЕДЫ.

Революционеры из буржуазной среды.

I.

В настоящей статье мы хотим говорить, собственно, о русской революционной интеллигенции, которая за последние годы как будто остановилась на распутьи и раздумывает, куда пойти ей: свернуть ли направо для соединения с высшими классами, пойти ли налево и искать серьезного союза с рабочими, или итти напролом, рассчитывая лишь на собственные силы, т.-е. на «террор».

Но прежде чем говорить о русском движении, нам кажется не бесполезным припомнить, хотя бы в самых общих чертах, полузабытую у нас физиономию западного революционера из буржуазии.

Нам это кажется не бесполезным, во-первых, потому, что у нашей революционной интеллигенции, твердо знающей, что на западе буржуазия была революционна, боролась с абсолютизмом и завоевала политическую свободу, имеется, повидимому, очень сбивчивое представление о том буржуа, который был революционером, боролся и завоевал... Он то рисуется ей чем-то аналогичным, по образу мыслей, солидности и положению, русскому «либералу», «отцу», «земцу», которым и выставлялся не раз в наших подпольных изданиях, в виде примера для подражания; а то вдруг окажется и еще солиднее: финансистом или крупным предпринимателем.

Это смутное представление о западном борце за политическую свободу не может не влиять, в свою очередь, и несомненно влияет самым путающим образом на наши представления о роли, как «общества», так и самых революционеров, в русской борьбе за ту же свободу, на наши понятия о значении в этой борьбе социализма и социалистов.

С другой стороны, революционное движение в среде образованной буржуазии Франции и Германии в первой половине XIX века имело, в некоторых отношениях, много общего с русским революционным движением.

Мы искали, конечно, другого содержания для своего революционного идеала, вместо республиканского идеала, с которым выступили наши западные предшественники. Но по своему общему характеру, по тем элементам образованных классов, которые оно захватывает, по тем силам, которые оно может развить, и по доступным для него средствам, наше революционное движение является несомненным историческим ровесником исчезнувшего после 1848 года революционного движения среди образованных классов Европы. Поэтому-то нам и не бесполезно припомнить, в чем была сила этих образованных революционеров и что они сделали? Это может представить нам некоторые данные для определения своей собственной силы и значения.

Как мы уже сказали, положение русского революционера представляется нам в некоторых отношениях аналогичным с положением образованных революционеров Франции и Германии, действовавших с начала реставрации и до 48 года.

Образованный революционер-идеолог конца XVIII века был в ином положении и опирался на такие силы, которых нет у русского движения, как не было и у немецкого. Но вся революционность первой половины XIX века так тесно связана с великой революцией XVIII, все постепенно видоизменявшиеся программы и теории внуков до такой степени коренятся в мировоззрении их знаменитых дедов, что невозможно не начать с них.

К чему стремились идейные представители великой буржуазной революции? Во всяком случае не к господству и благополучию современной буржуазии. Прежде чем окончательно вымерло их поколение, его остаткам удалось познакомиться с более или менее определившимся уже типом нового господствующего класса и с одним из лучших образцов нового строя, при конституционной монархии Луи-Филиппа. И старики отвернулись с презрением от своих довольных сыновей, возненавидели новый строй, мешались в заговоры и шли умирать на баррикады вместе со студентами и рабочими.

С своей стороны благоразумный современный буржуа, хотя и доволен материальными результатами революции, но зато очень недоволен ее нравственными последствиями и в досужие минуты охотно мечтает о том, как хорошо было бы, если бы старого революционера вовсе не бывало на свете.

«Свободная Россия» [1]), приглашавшая наших революционеров повернуть направо, сообщает нам мимоходом свои наблюдения

---

[1]) Журнал, издававшийся в 1889 году в Женеве под редакцией г.г. Бурцева и Дебагория Мокриевича, и при деятельном участии Драгоманова.

Примечание 1906 г.

над запоздалыми на целое столетие для Западной Европы, но назидательными, по ее мнению, для России утопиями, носящимися теперь перед умственными очами «благоразумных людей Франции».

«Во Франции,—говорит эта газета,—благоразумные люди разных партий,—как между консервативными монархистами, так и среди радикальных республиканцев, соглашаются в том, что неурядицы времени Великой революции и их последствия, чувствуемые и до сих пор, могли бы быть предупреждены, если бы страна, попавши в тиски абсолютной монархии, сохранила хоть старые провинциальные земские чины (ètats), или если бы новые провинциальные собрания учреждены были по всей стране не в 1787 году, а хоть 15—20 лет раньше и если бы затем и Земский Собор 1789 года тоже был созван раньше и явился бы естественным завершением провинциального самоуправления» [1]).

Как хорошо было бы в самом деле, если бы Генеральные штаты собрались пораньше, пока не выросло еще революционное поколение, воспитавшееся на философских теориях. Да если бы еще в эти Генеральные штаты попали все опытные дельцы старых провинциальных чинов, тогда уж наверное не было бы никаких потрясений. Дельцы не заупрямились бы, заседали бы себе отдельно по сословиям, держали бы речь королю на коленях, как требовалось по программе 1614 года, которую отстаивали парламенты—эти остатки старого самоуправления. Они исполнили бы все, что от них требовалось, но при этом, пожалуй, что-нибудь выторговали бы у правительства. Их скоро созвали бы опять, и они опять что-нибудь да выпросили бы. Дальше да больше, и понемногу все благоразумные, практичные требования буржуазии были бы удовлетворены. Правда, на французском престоле, быть может, еще благополучно заседали бы Бурбоны, и наверное существовала бы сильная поземельная аристократия (потрясений бы не было, а следовательно—ни эмиграции, ни конфискации дворянских имений). Это очень приятно утописту из дворян и не так уж привлекательно для буржуа республиканца. Но как человек благоразумный, он видит, конечно, что и король, и дворянство—ничтожное зло по сравнению с теми напастями, какие повела за собою революция. Не привыкни восставать и побеждать беднейшая часть городского населения, рабочий не повадился бы рассуждать, совать свой нос в общественные дела, не зазнался бы, не счел бы себя, в конце-концов, особым классом, которому принадлежит будущее. Он и тогда, положим, просил бы прибавки, устраивал бы стачки, но как сравнительно легко было бы спра-

[1]) № 2 «Своб. Росс.», сг. 3.

вляться со всем этим, хотя бы посредством «социальной политики»!

Но дело, к счастью, уже непоправимо, и история шла не по рецептам благоразумных людей. Голодные, неблагоразумные массы восстали и вооружились по всей Франции, а во главе революции очутились не практики и дельцы, а теоретики-идеологи, заразившие своим энтузиазмом всю страну, а за ней и весь тогдашний образованный мир. Эти люди видели в устранении тех или иных злоупотреблений, в отмене десятины, в равномерной раскладке налогов, в уничтожении цехов и проч. не одни лишь непосредственные практические удобства и выгоды, получаемые от этих мер. Нет, за всем этим им виделось впереди всеобщее счастье, царство разума, свободы, равенства и братства всех людей. Поэтому-то они не остановились в скромных пределах, предписываемых благоразумной практичностью, а шли все дальше и дальше, вливая в движение ту гигантскую силу одушевления, которой хватило на то, чтобы перевернуть всю Европу и начать новую эру в истории человечества.

Большинство этих людей принадлежало по рождению и воспитанию к буржуазии; буржуазия им сочувствовала при начале движения и она же воспользовалась материальными плодами их борьбы; поэтому они остаются в истории представителями буржуазной революции. Но субъективно, в своем сознании, они были представителями величайших интересов всего человечества. И не так уж обмануло их сознание.

Они видели пред собою сложную, выросшую в течение веков систему всевозможных сословных, местных частных прав и привилегий, стремившихся приковать каждого к его наследственному занятию.

Когда-то, при неподвижности средневековой жизни, при устойчивости тогдашних способов производства и ничтожности торговли, все эти права, таможни и привилегии обеспечивали и закрепляли за всяким сословием, за всяким городом и всякой местной группой граждан один и тот же неизменный источник дохода, отстраняя от этого источника всякого человека другого класса, другого наследственного занятия, другого города. Тогда дорожили этими правами и видели лишь их хорошую сторону.

Теперь, в XVIII веке, когда при изменившихся условиях производства и торговли, права и привилегии не столько обеспечивали старые источники дохода, сколько мешали приобретению новых, в глаза кидалась лишь их обратная сторона: несправедливость, нелепость, жестокость налагаемых ими стеснений.

Естественна была та мысль, что стоит лишь отнять у людей все их особые, несправедливые права и привилегии, создавшие вражду, бедность и неравенство, и возвратить всем людям их «естественное право» жить и заниматься где хочешь, как хочешь и чем хочешь, стоит только уничтожить все стеснения — и между равными от природы людьми, при ее неистощимых богатствах, установится и довольство и братство.

То же и относительно религии с ее обязательной проповедью противоестественных нелепостей. Стоит, казалось, отнять у духовенства привилегию навязывать всем и каждому эти нелепости, и между людьми распространятся «естественные, разумные» воззрения.

Старая, отставшая от жизни система стеснений и привилегий терзала в конце XVIII века все крестьянство, мешала всем слоям буржуазии и довела до того, что почти каждый человек, погруженный в свое частное дело, никогда не помышлявший об общих вопросах, был чем-нибудь да недоволен и желал тех или других соответствующих его специальности перемен.

Начавшаяся при таких условиях революция доставила широкий простор для деятельности смелых последователей философов восемнадцатого века.

Камня на камне не осталось от старых учреждений. Тут-то, думали борцы, и наступит царство разума, равенства и свободы, — лишь бы справиться с врагами внешними и внутренними.

Они ошибались. Не в том, что верили в возможность свободы и равенства для всех людей, в разумную будущность человечества, а в том, что думали, будто сделанного ими уже достаточно для ее наступления.

Эта ошибка была неизбежна. Они не жмурили глаз, не бежали от знания, они воспользовались всем тем светом, какой проливали тогдашние отношения. Но на той ступени экономического развития, на которой находилась тогда Европа, самая напряженная мысль не могла еще предвидеть, во что превратится экономическая, а вслед за нею и политическая жизнь при освобождении ее от средневековых стеснений, мешавших широкому развитию производства, но задерживавших в то же время и развитие крайнего неравенства: разложение третьего сословия на капиталистов и людей, лишенных всякой собственности.

Начавший складываться новый строй очень скоро оказался, по выражению Энгельса [1]), «самой злой, отрезвляющей каррикатурой на блестящие обещания философов XVIII века».

---

[1]) «Развитие научного социализма».

Но как ни зло подшутили бессознательные экономические силы над сознательными стремлениями людей, устранивших с их пути все препятствия, новое общество капиталистов и пролетариев являлось тем не менее безусловно необходимым промежуточным звеном между старым царством мелкой частной собственности и уничтожением всякой частной собственности посредством организации всего производства по заранее обдуманному плану. Такое изгнание бессознательности из ее главнейшего и последнего убежища — из области экономических отношений — сделает, наконец, людей господами своей истории, создаст и свободу и равенство — все то, к чему стремились вожди Великой революции. В этом смысле они не ошибались, считая себя борцами за царство разума.

II.

Но это царство лежало еще далеко впереди, а тем временем на сцену выступили практические люди и принялись пожинать плоды. Когда почва была достаточно расчищена, и все старое внутри страны окончательно побеждено, они устранили идеалистов и помогли утвердиться Наполеону. Изменили потом и ему. Любезничали с союзниками, привезшими им в багаже Бурбонов, и выхлопотали у этих союзников, в награду за смирение, хартию. Эта хартия основывалась далеко не на одном разуме. Высокий ценз сосредоточивал избирательное право в руках 100,000 богатейших граждан. Политические преступления подлежали исключительным судам. Свобода слова и собраний была стеснена гораздо сильнее, чем при Людовике XVI. Но если нравственные «права человека» вообще и не были гарантированы, то права буржуа, как такового, все материальные результаты революции: свобода промышленности, права покупщиков конфискованных имений, административное и судебное единство Франции, более или менее равномерное распределение налогов остались неприкосновенными.

Теперь, как у крестьян, так и у массы занятой своими частными делами, не помышляющей об общественных вопросах промышленной буржуазии, не было иных причин для жалоб и беспокойства, кроме некоторого опасения за целость новых порядков.

Зато образованный слой буржуазии, люди так или иначе соприкасавшиеся с общественными делами, идеями и теориями, были недовольны и преобладающим влиянием дворянства при дворе и в палате, и всеми покаяниями и очищениями от республиканских грехов, затеянными духовенством, и слишком высо-

ким избирательным цензом, и стеснениями печати, и многим другим.

Не так уж недовольны были солидные люди из образованной буржуазии, чтобы чем-нибудь рисковать ради своего недовольства, но совершенно достаточно для того, чтобы в прессе, палате и с кафедры упоминать как можно чаще слово «свобода».

Большинству солидных людей, при произнесении этого слова, рисовалась теперь уже не та идеальная, полная глубокого смысла свобода, за которую боролись идейные люди предшествовавшей эпохи. Их сравнительно довольные, практичные наследники не заходили далеко в своих пожеланиях. Но для молодого учащегося поколения это слово обладало еще магической силой, заставлявшей шибко биться сердца. Для них свобода казалась тем же необъятным счастьем, как и для людей великой революции, оставалась той же «Liberté chérie», о которой пелось в заученной с детства Марсельезе.

С первых же лет реставрации движение среди образованных классов во Франции принимает характер почти беспрерывной тайной агитации, вербующей свои силы главным образом среди студенчества. Учащаяся молодежь массами вступает в тайные общества, агитирует среди низших классов городского населения и строит заговоры с целью низвержения Бурбонов. Этой цели сочувствует крайняя фракция либерального общества и одно время, в виду некоторого успеха карбонаризма среди военных (народных восстаний общество боится), начинает даже шептаться с вожаками заговорщиков. Но заговоры открываются, революционеры идут на эшафоты, в тюрьмы и в эмиграцию. Легальное общество не делает ни шагу, чтобы защитить своих детей, оно притихает, наоборот, тем более, что одновременно с усилением арестов в среде революционеров усиливаются обыкновенно стеснения либеральной прессы и всех прочих легальных органов проявления общественного мнения. Но нелегальное движение не останавливалось, тайные общества продолжали существовать, вербуя на место выбывших членов новых из среды молодежи.

Как велика была сила этого движения и в чем именно она заключалась, показала июльская революция.

Читатели знают (хотя бы из брошюры Чернышевского: «Борьба партий во Франции»), как вели себя представители либеральной буржуазии при попытке попавшего в руки ультрароялистов правительства, уничтожить их любезную конституцию.

Если бы в эту пору вся образованная буржуазия была единодушна, вся целиком боялась народных волнений, и в своем сопротивлении не шла дальше хотя бы самых единодушных словесных и письменных протестов, государственный переворот 26 июля

1830 года имел бы все шансы на такой же благополучный исход, как и случившееся 20 лет спустя 2-ое декабря.

Но на счастье либеральной буржуазии в тридцатом году в ее среде были люди, совершенно расходившиеся с нею и в желаниях и в настроении. Они давно добивались низвержения Бурбонов, не обращая внимания на то, выполняют или нарушают они хартию, и стремились к республике, которой боялась буржуазия. Они с энтузиазмом вспоминали о Робеспьере и Марате, при одном имени которых у буржуазии подирал мороз по коже. В их глазах рабочий класс был не дикой невежественной массой, а наиболее близкой к ним и наиболее доступной их влиянию частью того «верховного народа», попранные права которого должна восстановить республика. Во имя этой республики они могли обратиться к рабочему классу, могли призывать его к оружию и заразить своим настроением.

Они это и сделали, схватившись за нарушение конституции, протест журналистов и отчаяние всей оппозиционной буржуазии, как за желанный повод начать восстание, но во время борьбы заменили лозунг буржуазии «да здравствует хартия!» своим: «долой Бурбонов!», а местами: «да здравствует республика!».

Студенты организовали битву, предводительствовали на всех опасных местах, на всех баррикадах.

Солидные и зажиточные элементы буржуазии способствовали успеху восстания лишь своим сочувственным нейтралитетом и полнейшим отсутствием активной преданности правительству; но этой пассивной поддержки было вполне достаточно, чтобы ослабить вначале, а под конец совершенно парализовать энергию войск, пытавшихся подавить восстание.

Зато после победы робкие представители либеральной буржуазии обнаружили пожирающую деятельность, и не успели оглянуться борцы, как на престоле заседал уже Луи-Филипп, а с ним вместе и крупная буржуазия. Она оттеснила на задний план дворянство, уничтожила наследственность звания пэров, увеличила число избирателей до 200.000 и проч.

Революционеры-республиканцы отнеслись, конечно, весьма равнодушно ко всем этим реформам и, пользуясь невозможностью для выросшего из баррикад правительства начать с преследования «июльских героев», они тотчас же повели самую усердную республиканскую агитацию.

Республика оставалась еще в этот момент идеалом революционеров, «объявление прав человека»—их катехизисом; но все индивидуальные права и формальные свободы доживали уже, в качестве революционного идеала общего счастья, свои последние дни.

Рядом с усиленной республиканской пропагандой та же сравнительная свобода медовых месяцев июльской монархии вызвала и широкое распространение уже раньше выработанных теорий великих утопистов.

Во всем своем объеме учения С. Симона и Фурье не могли иметь большого успеха среди республиканцев. Уже одно свойственное этим учениям отрицание революционной борьбы и всякого насилия действовало отталкивающим образом на молодежь, среди которой именно в это время была особенно сильна поэзия борьбы и подвигов. Но отрицательная сторона учения утопистов, их критика сложившихся при свободе промышленности новых экономических отношений, разрушила в целой массе живых, идущих вперед умов «трехцветный либерализм», как выразился Герцен, отправившийся с товарищами в первую ссылку, между прочим «за вредное учение С. Симона».

А факты промышленной жизни сами представляли слишком неотразимые аргументы против обойденных историей идеалов.

Лионское восстание 1831 года приковало на время к этим фактам всеобщее внимание и представило, так сказать, громадную иллюстрацию к критике утопистов.

Лионские ткачи шелковых материй требовали и добились от префекта установления обязательного для фабрикантов тарифа поштучной платы, быстрое понижение которой вызывало в их среде страшные бедствия. Либеральное министерство осудило действия префекта, как несогласные с принципом свободы промышленности. Фабриканты немедленно воспользовались этим либерализмом для нарушения тарифа, на который прежде соглашались. Тогда доведенные до отчаяния 30.000 ткачей восстали под знаменем с красноречивой надписью: «жить, работая, или умереть, сражаясь!»

Они пытались таким образом противопоставить одной из святейших свобод республиканского идеала, одному из краеугольнейших «прав гражданина»—свободе контрактов, свое право «жить, работая». Это невольно наводило на размышления и подрывало веру в достаточность формальной свободы для счастья людей, не имеющих собственности.

Под соединенным влиянием жизни и выясняющей ее теории старые идеалы постепенно теряют в 30-х годах свое революционное значение. В большой республиканской партии, объединенной в полу-тайное «Общество прав человека», началась борьба мнений, и «чистые» или «либеральные» республиканцы образовали в ней правое умеренное крыло. Остальные, держась попрежнему за традиции великой революции, стали обращать преимущественное внимание на ту сторону этих традиций, которая говорила о борьбе

бедных против богатых, зачатков будущего пролетариата против крупной буржуазии. Они припомнили различные меры якобинцев: насильственные займы, конфискации, преследования ростовщиков и скупщиков хлеба и проч.—меры, сильно грешившие против принципа собственности. В робеспьеровском проекте «объявления прав человека»—отметили в особенности тот пункт, который определял право собственности, как право гражданина располагать тою частью имущества, какую *гарантирует* ему закон. Из этого определения выводили обязанность законодателя регулировать право собственности, принимать меры против развития имущественного неравенства.

«Демократы» или «Монтаньяры»—как начала называть себя более революционная часть республиканской партии—пришли, в противоположность чистым республиканцам и всей либеральной буржуазии того времени, к убеждению в необходимости сильного правительства, опирающегося на народные массы и употребляющего свою власть на защиту этих масс против аристократии богатства.

Усиление таких тенденций возмущало либеральных республиканцев, которые начали, наоборот, особенно сильно подчеркивать принцип невмешательства государственной власти в экономическую жизнь страны.

Окончательному удалению чистых республиканцев из революционного движения помогла правительственная реакция, положившая конец открытому существованию республиканской партии. Строгие законы против тайных обществ, передача важных политических преступлений исключительному трибуналу реакционной палаты пэров и законы против прессы, принятые под впечатлением второго покушения на жизнь короля, прекратили шумную, открытую агитацию путем прессы и уличных демонстраций и заставили революционное движение снова обратиться к строго организованным тайным обществам и заговорам.

В этом движении чистые республиканцы уже не участвовали. Они постепенно соединились с «обществом», стали людьми практичными и благоразумными. Они говорили те же слова, но ограничивали их смысл: к «свободе» прибавили «порядок», а «равенство» свели к строго определенному понятию равенства пред законом. Литературный орган этой партии «National» начал все более и более сближаться в своих воззрениях с либеральной монархической оппозицией. Вся разница между ним и взглядами этой оппозиции свелась, наконец, к тому, что либеральные монархисты хотели трона, обставленного республиканскими учреждениями, а республиканцы «Националя»—тех же учреждений без трона.

В сороковых годах чистые республиканцы стали уже сознательными представителями интересов средней буржуазии и, попавши в 48-ом году в правительство второй республики, они защищали именно эти интересы, окрестивши их, впрочем, более общими и почетными названиями интересов «порядка», «цивилизации» и даже «свободы». Ради этих интересов они сознательно и беспощадно обманывали рабочих, подписавши декрет, в котором от имени республики «гарантировали рабочим существование посредством труда», не имея ни малейшего намерения делать что бы то ни было для выполнения этой гарантии. Они обманывали их, заводя «национальные мастерские», с целью среди самих рабочих навербовать армию против их передовых товарищей-социалистов, и когда это не удалось, с свирепой жестокостью усмиряли восстание, вызванное их же предательскими мерами.

Таким образом, буржуа-республиканцы, бывшие еще в 30-ом году революционной партией, в 48-ом—обманывали рабочих. Но из этого ни в каком случае не следует, чтобы—*революционеры* были когда-нибудь сознательными обманщиками. Когда республиканцы были революционерами, когда, рискуя свободой и жизнью, они обращались к рабочим и вместе с ними участвовали в заговорах, являлись пред судами и на баррикадах, тогда они честно относились к своим товарищам и искренно звали их на борьбу за общее счастье. В то время они оказывали услугу рабочим, возбуждая в их среде умственное движение, заставляя эту среду заинтересовываться теми идеями, теми общими интересами, которыми были сами увлечены. В то время республиканцы еще сами не знали, что их либеральная республика не может существовать без полуголодного пролетариата, а как только они поняли это, как только распрощались с «химерами» общего счастья и действительного равенства, они перестали быть революционерами, перестали принимать участие в опасной революционной деятельности, на почве которой происходило сближение между рабочими и революционной интеллигенцией.

Когда либеральные республиканцы начали сознательно обманывать рабочих, они были уже представителями не революционной, а консервативной буржуазии.

III.

Сильно поредевшие во второй половине 30-х годов остатки революционной интеллигенции сгруппировались в различные оттенки демократического направления, пытавшегося лечить расшатанный республиканский идеал различными паллиативными

средствами: придумыванием таких мер против богачей, которые привели бы к имущественному равенству при сохранении частной собственности.

Самые крайние элементы революционной интеллигенции, вместе с огромным большинством участвовавших в движении рабочих, пришли к отрицанию самого принципа частной собственности, припомнив революционный коммунизм Бабефа, сохранявшийся в предыдущем периоде лишь среди небольшого числа его последователей.

В эту же пору, во второй половине 30-х годов, изменилось и отношение рабочих к активному революционному движению,—их положение в тайных обществах и заговорах.

Среди карбонаров времен реставрации, так же как и в республиканских обществах первых лет июльской монархии, большинство членов составляли революционеры из буржуазной среды.

Они действовали на рабочих, вели их за собою, только на них и рассчитывали, но везде и во всем оставляли за собою инициативу, главные роли, направление.

Организованное в 1836—37 году Бланки и Барбесом новое революционное общество, окруженное строжайшей тайной по образцу карбонаров, тоже вербует сперва своих членов главным образом из среды образованной молодежи, но быстрый наплыв в общество рабочих скоро перевешивает в нем студенчество, и через 2—3 года громадное большинство членов состоит уже из рабочих.

В тайных обществах сороковых годов образованное меньшинство теряет постепенно и свое значение руководящего элемента.

Рабочие сами ведут пропаганду в мастерских и харчевнях, сами пишут и печатают в тайных типографиях листки и журналы, запасают оружие, порох и пули для восстания, к которому постоянно готовятся. Они находятся в тесных сношениях с тайными обществами других городов, в особенности Лиона, где почти исключительно рабочее революционное движение было гораздо сильнее, чем в самом Париже.

И не только относительно к числу рабочих, но и абсолютно число революционеров из буржуазии, с половины 30-х годов, начало сильно уменьшаться. Более умеренные оттенки демократов одни за другими удалялись от движения. Наплыв новых членов из среды студенчества становился все меньше и меньше.

Буржуазия была в общем довольна правительством июльской монархии. Напряженное состояние, в котором жило образованное общество при реставрации, продолжавшее еще отзываться в первые годы нового царствования, постепенно улеглось, и буржуазная среда уже не окружала свою учащуюся молодежь той атмосферой, которая толкала ее прежде в революцию.

Начавшаяся к концу сороковых годов ссора между министерством Гизо и либеральным обществом из-за избирательной реформы была недостаточно глубока и радикальна, чтобы возобновить эту атмосферу. Серьезными революционерами, способными на самопожертвование, остались во Франции уже одни рабочие, да отдельные личности из образованных классов, совершенно слившиеся с этим рабочим движением.

Июньские дни, когда рабочие в первый раз увидели во вражьих рядах студенческие мундиры, вырыли никогда уже не закрывавшуюся вполне пропасть между радикальной буржуазией и рабочими.

С тех пор движение среди последних утихало, разгоралось, затопленное в крови снова уходило с публичной арены в глубь мастерских и постепенно опять начинало проявляться; но оно уже не зависело от настроения интеллигенции, ни мало не подчинялось идеям и теориям этой последней.

С тех пор французские рабочие не раз увлекались той или другой личностью из буржуазии. И Гамбетта, и Рошфор, и многие другие становились на минуту их идолами, но для того, чтобы приобретать рукоплескания толпы, этим идолам приходилось повторять ее любимые слова, не увлекать ее своими идеями, а красноречиво излагать те мысли, которые слушатели уже принесли с собою. Как только идолы проговаривались, вносили свои нотки в ту музыку, которую желали слушать их обожатели, эти последние тотчас отвертывались от них и искали себе других выразителей.

Принимать вид руководителей рабочего класса люди из буржуазии могли лишь настолько, насколько соглашались беспрекословно следовать за ним.

IV.

Французская революционная молодежь, начавшая действовать во время реставрации, уже появилась на свет с знанием, где находится ее революционная армия. С другой стороны, и у парижских предместьев остались от первой республики если не определенные революционные идеалы, то по крайней мере любимые лозунги и представление о своей силе.

В другом положении была образованная молодежь Германии, среди которой, почти одновременно, тоже началось неопределенное революционное брожение. Рабочие Германии еще ничем не заявили в то время о своей революционности. Здесь не было и того общего недовольства всех непривилегированных классов, которое

существовало во Франции перед Великой революцией. Сравнительно отсталая промышленная жизнь Германии не так рвалась еще из старых рамок. К тому же наиболее кричащие, всех и каждого царапающие неурядицы старого строя были уже отменены еще во время наполеоновских войн, и гражданские реформы продолжались в Германии и при реставрации, несмотря на страшную политическую реакцию.

Недовольно и взволновано было только немецкое образованное общество.

«Вся Германия, говорит Гейне о конце XVIII века,—спала тогда свинцовым сном, и только в ее литературном мире замечалось самое усиленное кипение... Когда в Париже волновалось море революции, ему вторила буря в сердцах немецких писателей» [1].

Если в конце второго десятилетия XIX века сон Германии уже не был таким свинцовым, она все же еще дремала, но число сердец, бившихся от общих, не личных вопросов, в ней сильно увеличилось. Литературный мир Германии пережил за 30 лет, прошедших с того момента, о котором говорит Гейне, не мало превращений; пережил и обожание древней Германии, связанное с реакцией против всего французского, но все время он не переставал жить самой усиленной умственной жизнью и создал довольно широкий круг читателей.

Полное отсутствие политической свободы, давшее себя почувствовать во всей силе именно после избавления от галлов, против которых так кричало образованное общество, возбуждало в его среде усиленное недовольство и брожение. Это брожение, как и всякое подобное брожение образованного общества, сосредоточивалось в бесконечно усиленной степени в среде учащейся молодежи. Недовольство солидных, либеральных людей сказывалось в жалобах на зло и в похвалах добру. Молодежь, под влиянием этих жалоб и похвал, почувствовала себя обязанной бороться со злом и осуществить добро. Этому, впрочем, способствовали и любимые учителя из старшего поколения. На юношество возлагал все надежды умерший в 1814 году Фихте. Он говорил, что современное ему «погрязшее в эгоизме поколение должно сойти со сцены, прежде чем наступит время свободы», и старался подготовить юношество к предстоящей великой задаче, внушить ему сознание его будущего значения. И учащаяся молодежь прониклась той мыслью, что на ней лежит обязанность возродить Германию.

Ее представления о том, в чем именно должно заключаться это возрождение, были не особенно определенны. Прежде всего,

---

[1]) Über Deutschland.

конечно, — в свободе, затем в добродетели, которою должны проникнуться высшие классы. Народу этого не нужно, так как в нем живет древне-германский дух, полный добродетели. С этим духом, нарисованным немножко по Тациту, главным же образом по романтической литературе, поэтизировавшей германские предания средних веков, очень носились немецкие юноши. В народе—предполагалось — этот древний, свободный, великий, добродетельный дух совершенно цел и лишь сдавлен внешним гнетом. Стоит снять с народа гнет, да возродить к добродетели испорченные иностранным влиянием высшие и даже вообще городские классы, и тогда лучше, выше, счастливее единой Германии нельзя будет ничего себе представить. И все это совершить—освободить и возродить—взяла на себя молодежь.

Состояние учащейся молодежи в начале шестидесятых годов в России сильно напоминает этот первый момент немецкого движения. Слова, понятия — были другие. Немецкий бурш писал стихи, увлекался философией, был даже на свой манер религиозен и очень любил Христа, видя в нем, впрочем, исключительно человека, пожертвовавшего жизнью за свои убеждения. «Ein Christus sollst du werden», что означало: «ты должен умереть за свои убеждения», говорилось в одном очень распространенном в среде молодежи стихотворении, найденном также у Занда, убившего Коцебу.

Слова — были различны. Но выделение «молодого поколения» в особый лагерь, к которому причислялись лишь любимые профессора и писатели, и противопоставление этого молодого лагеря всему остальному старшему поколению «филистеров» (у нас ретроградов), с которыми предстояло вести борьбу, это еще неопределенно-революционное, но страшно возбужденное настроение молодежи, которое — как в Германии, так и у нас — должно было неминуемо привести ее к столкновению с правительством—чрезвычайно аналогично.

Столкновение началось с Вартбургского праздника, на котором представители студенческих корпораций всех университетов заявили свою вражду к филистерству сожжением произведений некоторых реакционных писателей. Правительство ответило преследованиями студентов и любимых профессоров. Настроение молодежи обострилось. Из общего открытого студенческого союза начали выделяться тайные общества по образцу французских карбонаров. К неопределенным, сводившимся более к выражениям порицания и одобрения, средствам борьбы, тайные общества прибавили определенные: политические убийства.

Первое—убийство Коцебу, реакционного писателя, находившегося на жаловании у русского правительства и вызывавшего—

немецкие на преследования университетов и литературы, возбудило сочувствие в широких слоях образованного общества. Прусская полиция, занимавшаяся усерднейшим чтением частной корреспонденции, натыкалась на сочувственные отзывы о Занде в письмах докторов, юристов, даже пасторов. Но вскоре последовавшее второе политическое убийство прошло уже сравнительно незамеченным.

Со стороны немецких правительств эти убийства вызвали целый ряд преследований. Арестовывали массами, следствия тянулись без конца.

Начатое в 1819 году после убийства Коцебу расследование окончилось лишь в 29-м. Одного вступления в тайное общество, без всяких иных преступлений, для прусского правительства было достаточно, чтобы приговорить десятки арестованных в 23-м году студентов к 15-ти годам заключения в крепости.

На юношей-заговорщиков направлено было все внимание правительств, о них съезжались совещаться государи «Священного Союза». Против них изданы были Карлсбадские постановления, введшие цензуру, ограничившие права университетов и отдавшие их целиком под надзор полиции.

Немецкое общество втихомолку огорчалось и негодовало, но безмолвствовало. Молодежь продолжала волноваться, но около 15 лет движение вертелось в безвыходном кругу, не наталкиваясь на деятельность, при которой его силы могли бы постоянно расти. Революционеры мечтали о крестьянских восстаниях (революционным воспоминанием немецкой истории были крестьянские войны, как у нас бунты Разина и Пугачева), о военных переворотах, надежды на которые были возбуждены удачными пронунсиаменто в Испании и Италии 20-го и 21-го годов, но всего больше надежд возлагалось на тираноубийства, с которыми при 33-х немецких тиранах предстояла большая работа.

Убийств, однако, не происходило, о них только сговаривались. У немецкой революционной интеллигенции не выработалось искусства жить «нелегально» и действовать по нескольку лет на месте, несмотря на розыски полиции,—того искусства, благодаря которому у русской молодежи конца 70-х и начала 80-х годов оказались опытные руководители, создавшие всю силу русского терроризма.

Намеченный полицией немецкий революционер принужден был эмигрировать или был арестован. Поэтому до половины 30-х годов движение почти не выходило за пределы учащейся молодежи. Последовавшее в первые годы июльской монархии более тесное сближение с французской революционной партией вылечило немецких эмигрантов от их самобытных фантазий.

Вместе с французскими революционерами они стали демократами, затем часть их перешла к коммунизму. Это быстро отозвалось и в самой Германии. Основанный в 1833 году студентом Георгом Бюхнером революционный союз, названный им по образцу французского союза «Обществом прав человека», проповедывал уже крайне демократические, окрашенные коммунизмом взгляды. Но в членах союза еще жило убеждение, что в земледельческой Германии освободительная роль принадлежит земледельцам, и это убеждение заставило их обращаться со своей пропагандой, главным образом, к крестьянам и потерпеть неудачу.

Однако, начатая в то же время эмигрантами во Франции и Швейцарии пропаганда среди немецких рабочих, заходивших туда на заработки и затем возвращавшихся на родину, постепенно изменила весь характер и ход немецкого революционного движения.

Скоро число революционеров из рабочих значительно перевесило, и за границей и в Германии, число революционной интеллигенции. Возвращаясь на родину, рабочие, члены основанных за границей тайных революционных обществ, уносили с собой их издания и организовывали в Германии тайные секции. Время от времени полиция открывала эти секции, их членов держали под бесконечными немецкими следствиями и приговаривали к многолетнему заключению. Но число вновь возникавших секций постоянно перевешивало исчезающие. При этом, чего не случалось с заговорами, состоявшими исключительно из интеллигенции, многим тайным рабочим обществам удавалось просуществовать неоткрытыми по нескольку лет и выработать опытных и искусных конспираторов, которым уже не так опасна была зоркость полиции.

В сороковых годах немецкое революционное движение, в особенности коммунистическое, является уже чисто рабочим движением. Интеллигенция поставляет этому движению большинство его писателей и руководителей, но ей уж больше и в голову не приходит мечтать о достижении своих идеалов какими-нибудь иными путями помимо рабочего движения. «Тогда (около 48-го г.), говорит Энгельс, приходилось собирать по одному рабочих, понимавших свое положение и свою исторически-экономическую противоположность капиталу, так как сама эта противоположность еще только возникала». Их приходилось собирать по одному, но коммунисты их собирали и насбирали не мало. Понимание своего положения у рабочих, вовлеченных в движение демократами, было очень не полно, но и у них впереди была великая цель, о которой они думали, для которой жили и действовали, и уже это одно поднимало их высоко над их преж-

ним состоянием и над всем остальным, живущим лишь личными целями, миром.

Когда во Франции была учреждена вторая республика, и у немецких правительств явилось предчувствие, что и им не сдобровать, а все либеральное и революционное, все, что желало изменения существовавшего режима, стало делать усилия, чтобы оправдать доброе мнение немецких государей о своих подданных,—немецкие рабочие, увлеченные своим передовым, мыслящим отрядом, явились освободительной армией Германии.

Мы не хотим сказать, что для немецкой революции 48 года только и нужна была, что рабочая революционная армия. Наоборот, для нее была совершенно необходима либеральная буржуазия. Необходима, во-первых, потому, что если бы она не суетилась, не путалась в дело, не мешала правительству, оно боролось бы гораздо энергичнее, и революционных сил быть может не хватило бы для того, чтобы одолеть его. Хотя, с другой стороны, не стой за либералами рабочие, правительство не обратило бы на их суетню никакого внимания.

Во-вторых, буржуазия была необходима, потому что только она и могла воспользоваться плодами борьбы, взять в свои руки выпавшее из рук правительства ведение дел страны. И потому-то, что в общем она была в Германии, в особенности в Пруссии, очень труслива, практична и благоразумна, а вслед за победой с нее быстро соскочили все остатки старого идеализма и свободолюбия, она и не удержала во всей полноте завоеванных революционерами свобод и прав человека, а удержала лишь некоторое участие в управлении, кое-какие конституции.

Либеральная буржуазия была необходима для революции. Но революционеры из буржуазных классов Германии сделали и могли сделать для этой революции только одно: подготовить к ней рабочих и сражаться вместе с ними. Только такую помощь они и могли оказать своим либеральным отцам. Влиять на этих отцов было вовсе не их дело, они и сами-то были именно порождением того идеализма и свободолюбия, которые накоплялись у стремившейся к управлению общественными делами буржуазии. Она в них выражала свою энергию. Когда после 48 года буржуазия отрезвилась, стала практичной и благоразумной—исчезла и революционная молодежь. Когда в 60-х годах рабочие снова подняли движение, молодая интеллигенция в нем не участвовала, как не участвовала и вся масса революционеров из буржуазии, действовавших в 40-х годах. Лишь несколько исключительных личностей остались верны революционному пролетариату и явились его неизменными вождями.

Но как ни печально закончился революционный год Германии, он, вместе с предшествовавшим ему периодом, сделал очень, очень много для немецких рабочих.

За это время рабочий класс Германии успел пройти первый курс той школы, окончанием которой будет его полное и всестороннее освобождение.

V.

Для тех из наших читателей, которым кажется, что на Западе пропаганда социализма возможна потому, что там рабочие развиты и принимают участие в политической жизни, а у нас невозможна потому, что наши не развиты и не принимают,— для думающих так читателей не безынтересно будет мнение Георга Адлера, написавшего историю этого первого фазиса рабочего движения в Германии.

Адлер—противник социализма. Современное социал-демократическое движение в Германии он считает «безусловно преступным», «совершенно непростительным». Он думает, что улучшения в положении рабочего класса необходимы, но они должны делаться мирным путем постепенных реформ, постепенного решения назревших вопросов.

Но «история убедила» Адлера, что по собственной инициативе имущие классы ничего не сделают для рабочих, что для осуществления самого что ни на есть постепенного улучшения необходимо самостоятельное движение в рабочем классе, а для такого движения необходимо умственное пробуждение этого класса, необходим интерес к общим вопросам. Разбудить же рабочий класс, вызвать в его среде умственное движение могли, по мнению Адлера, только революционные теории. Поэтому, хотя «Союз коммунистов» проповедывал точь-в-точь то же, что и современные, осуждаемые им социал-демократы, хотя вообще в сороковых годах среди рабочих были распространены самые крайние теории, Адлер находит, тем не менее, что революционный социализм сороковых годов не только заслуживает снисхождения, но был благодетельным, необходимым явлением... «Или можно в самом деле думать, говорит он, что массы пришли бы в движение, если бы не видели перед собой громадной (gewaltig grosses) цели [1]). Представьте себе положение низших классов,

---

[1]) Стр. 293. Читая эту страницу, можно подумать, что Адлер в 85 г. предугадал, что будет писать в 88 году г. Вас. Жук в своей статье 1-го нумера «Свободной России», и возражает именно на его вылазку

*

еще не проникнутых умственным движением. Их можно было привести в движение против старых преданий, лишь давши им великую надежду вроде всеосчастливливающего социального государства. Чтобы они стряхнули с себя летаргию, было поэтому необходимо обещать им полное уничтожение их страданий». «Никакие другие воззрения, утверждает Адлер, не нашли бы отзвука в сердцах низших классов». Ни за какие другие идеи из его рядов не вышло бы «апостолов»... «отдававших за них всю жизнь, терпевших за них всевозможные страдания и лишения. А для того, чтобы социально-реформаторские идеи охватили народ, необходимы были сотни за сотнями (Hunderte und über Hunderte) таких одушевленных апостолов».

Теперь, когда «апостолы» уже сделали свое дело, когда социализму удалось уже возбудить умственное движение среди рабочих и сделать их таким образом способными принимать участие в общественной жизни страны, рабочие обязаны, по мнению Адлера, отказаться от своих социалистических теорий, говорящих об уничтожении частного капитала, обратить все свое внимание лишь на такие постепенные реформы, к которым можно склонить имущие классы, а не стремиться все к той же «громадной цели», как это делают социал-демократы, раздражая таким поведением буржуазию. «Свободная Россия» [1]) пытается, впрочем, уверить русских читателей, что западные рабочие уже прониклись рекомендуемой Адлером умеренностью и аккуратностью, но она ошибается, конечно, как ошибается и Адлер, воображая, что *мыслящий пролетарий* может не быть социал-демократом. Научный социализм есть именно его

«против групп», ставящих своей задачей и вовлечение в движение русского рабочего, а также на его намерение поднять «умственный и нравственный уровень рабочих» посредством грамоты, и «путем мирной и чисто культурной, а не революционной деятельности, подготовить рабочую и крестьянскую массу к сознательному восприятию идей политической свободы». Не «поднят» был в сороковых годах «умственный уровень» и у немецких рабочих, и никакая политическая жизнь не «расширяла их кругозора». Но охваченные действием «чисто революционной» пропаганды, они в своих обществах страстно учились и учили друг друга даже таким элементарным вещам, как искусству писать и считать. И для того одного, чтобы измученный трудом рабочий стал тратить на это свои короткие досуги, уже нужен энтузиазм, нужно одушевление, которое может дать ему лишь революционное сознание его великого будущего. А без такого сознания не поможет ему и пройденное в школе «Родное слово». А уж о «нравственной-то крепости, которая дается образованием», лучше бы не говорить. Полно, так ли уж высок «нравственный уровень» имущих классов? А ведь в них вдалбливают в школах не одно «Родное слово», а элементы всех возможных наук.

[1]) № 2. «Очерки социального движения».

идея, объяснение его положения, его неизбежной борьбы и ее возможного исхода. По пути, он не отказывался и не откажется добиваться всех тех законодательных мер, которые облегчают его дальнейшую борьбу. Но ни при каких мерах, ни в каком случае пролетариат не может перестать стремиться к уничтожению основанного на частной собственности строя, потому что сам является продуктом разложения этого строя.

При устойчивом, не разлагающемся экономическом строе есть, конечно, бедняки, но положение этих бедняков, их бедные средства к существованию обеспечены и закреплены за ними законом и обычаем. Нищий в средневековом городе и тот имел свое общественное положение: свой круг давальцев, свое место на паперти. В неразлагающемся строе людей лишает средств к существованию то или другое насилие или нарушение обычного хода вещей: война, грабеж, пожар, неурожай, наводнение. В устойчивой средневековой Европе все такие несчастия случались гораздо чаще, чем теперь, но едва проносилась гроза, все опять стремилось притти в прежнее положение и приходило в той или другой степени, так как сама экономическая основа всего строя была сравнительно уравновешена.

В современном разлагающемся строе число людей, лишенных всякой собственности, постоянно растет, а их положение роковым образом ухудшается не при насилиях или крушениях обычного хода вещей, а при самом нормальном, спокойном их течении; не вследствие общественных несчастий, а вследствие общественного прогресса. То или другое научное открытие или новое изобретение может производить в этом строе опустошения, превосходящие по числу жертв самые ужасные пожары, самые обширные наводнения. Почти каждое промышленное усовершенствование стремится или отнять заработок у возможно большего числа пролетариев, или увеличить их массу посредством разорения ремесленников и крестьян. И никакие законы, никакие реформы не могут предотвратить таких последствий нормального развития промышленности—ничто не может помочь пролетарию, кроме уничтожения частной собственности. Он является таким образом революционером по самой сущности своего положения.

В самом начале своей революционной истории он боролся под предводительством буржуазной интеллигенции за свободу и равенство. Когда, осуществляясь в основанном на экономическом неравенстве строе, свобода свелась к правительству буржуазии, а равенство к уничтожению сословных привилегий, участвовавший в движении пролетариат, вместе с меньшинством революционеров из буржуазной среды, перешел к коммунизму. Но этот первоначальный коммунизм сохранил от прежней политиче-

ской борьбы всю, так сказать, техническую сторону своей программы. Как замена одного правительства другим достигалась сразу, одним восстанием, так же, предполагалось, может в каждую данную минуту быть осуществлен и коммунизм, если только коммунисты захватят власть после победоносного восстания. Лишь пред концом исторического периода, отмеченного революционным брожением в среде буржуазии, начал распространяться новый коммунизм, по учению которого торжество социальной революции неизбежно, так как к нему ведет прогресс капиталистического производства. Но эта революция не совершается одним ударом, одним восстанием, а является целым, более или менее продолжительным [1]) процессом, в течение которого растет, воспитывается и организуется пролетариат, участвуя в каждой прогрессивной борьбе: вместе с буржуазией против абсолютизма, с мелкой буржуазией против крупной, но оставаясь до времени оппозиционной, а не господствующей партией, так как для социалистов преждевременный захват власти, пока еще значительная часть даже самого пролетариата остается неорганизованной, был бы не победой, а отсрочкой их окончательного торжества.

Теперь такое понимание социалистической революции стало учением всего развитого, мыслящего революционного пролетариата.

В его движении буржуазная интеллигенция давно уже не участвует. На сотни тысяч социалистов рабочих едва наберутся десятки, принадлежащих по рождению к буржуазии. Эта последняя удовлетворена, консервативна и может поэтому так воспитывать свои молодые поколения, что им не приходят уже в голову никакие идеи. Но пока буржуазия выделяла из своей среды революционеров, они никогда не защищали ее программ, не являлись в своем сознании борцами за ее интересы. Да и не могли являться. Чтобы иметь одушевляющую силу, необходимую для опасной, самоотверженной борьбы, революционные программы должны давать своим сторонникам право чувствовать себя представителями интересов всех угнетенных и обездоленных и не частных, минутных их интересов, а общих, великих интересов их будущего. Ближайшим последствием всей деятельности революционной интеллигенции было лишь торжество буржуазии, но в то же время она оказала народу ту именно услугу, какая была нужна ему, разбудивши мысль передовых кружков рабочего класса и помогая рабочим при первых попытках их революционных организаций.

---

[1]) Ни в каком случае не требующим, однако, ни тысячелетий, ни столетий; за это ручается нам и быстрый ход промышленного прогресса, и быстрые успехи организации пролетариата.

Это в сущности все, что могла сделать для народа революционная интеллигенция.

Полное экономическое освобождение народа может быть лишь делом самого народа. Для успешной борьбы за это освобождение нужна бесконечно большая сила, чем для свержения, при попустительстве со стороны высших классов, какого бы то ни было правительства; нужна такая высокая степень сознательности и самодеятельности рабочего класса, что рядом с этой силой не имела бы значения очень серьезная при известных комбинациях, но в сущности хрупкая сила революционной интеллигенции.

VI.

В то время, когда окончательно затихает революционное движение среди образованных слоев западной буржуазии, начинается аналогичное сильное и самостоятельное движение в России.

Отдельными, наиболее развитыми личностями и группами она давно уже участвовала в жизни мыслящей Европы. Все наши передовые кружки первой половины девятнадцатого века развивались под влиянием современного им западного движения. Но они были колониями просвещенных чужестранцев, заброшенных в азиатское царство. Кроме небольших групп в столицах да одиноких читателей, разбросанных по городам и помещичьим усадьбам, вся Россия жила тогда тою, никем не продуманной, а самостоятельно выросшею, веками сложившеюся «мудростью предков», которую отцы передавали детям почти в тех же выражениях, в каких слышали ее от дедов. И ничто вокруг не заставляло детей сомневаться в этой мудрости. Все, из поколения в поколение, жили при почти одинаковых условиях, получая едва изменяющиеся впечатления, делая то же и почти так же, как делали тридцать, сорок, пятьдесят лет тому назад.

Чтобы вырваться из круга этой массовой, окоченелой мысли, при тогдашних условиях нужно было высшее образование, знание иностранных языков, достававшееся лишь немногим зажиточным дворянам, и ко всему этому нужны были еще и выдающиеся умственные силы. Начавшиеся с конца пятидесятых годов реформы почти всего нашего гражданского строя, изменяя условия старого быта, расшатали с ним вместе и выросшую из него бытовую мудрость. Они перевернули вверх дном обыденное существование всех самых «диких» помещиков, самых заскорузлых чиновников, они же погнали в города лишившихся приюта дворовых и массы крестьян, бежавших туда на открывшиеся заработки добывать деньги на уплату возраставших податей. Желез-

ные дороги в несколько лет совершенно изменяли физиономию самых захолустных городков, через которые проходили.

Обо всем этом новом, невиданном и неслыханном старая мудрость решительно не знала, что сказать. При этом новости били ее по самому чувствительному месту, изменяя способы приобретения доходов, и заставляли злиться, теряться и нести очевиднейшую ерунду. Подраставшая молодежь вдруг почувствовала себя умнее отцов. Она почти инстинктивно была на стороне всего нового и уже этим одним выделялась, чуть не в каждом провинциальном городе, в свой особый мирок, для которого любой бойкий гимназист или семинарист, прочитавший хоть пару журнальных статей, — о заезжем студенте уж и говорить нечего, — становился непререкаемым авторитетом, окончательно разрушавшим уже расшатанное уважение ко всему, что было свято и неприкосновенно для бытовой мудрости, вдруг оказавшейся «устарелым предрассудком».

Всему этому юному люду было душно и тесно в провинции, все рвались в университетские города за ответами на свои запросы и уже с смутным предчувствием какого-то великого дела.

У этой, так быстро пробудившейся, так сильно взволнованной молодежи была громадная потребность в свободе. По сравнению с предыдущим периодом свобода, или вернее, послабления были довольно значительны, но теперь каждое стеснение чувствовалось гораздо сильнее.

Люди сороковых годов, дошедшие путем науки и постепенного развития до отрицания традиционных взглядов, оторванные от окружающей среды, могли довольствоваться осторожной литературной пропагандой лишь части своих воззрений, оставляя для дружеских бесед за чайным столом самые задушевные свои убеждения.

Совсем в ином положении находилась молодежь шестидесятых годов, у которой не наука (враги не ошибались, называя ее «недоучившейся»), а изменившиеся условия жизни вызвали отрицание всех традиционных заповедей, более полное и беспощадное, чем отрицание их образованных предшественников. Люди сороковых годов относились с своего рода уважением, с философским признанием ко многому из отрицаемого; они по большей части снисходительно сторонились от проявлений в живой действительности всего того, с чем порешили в теории. Молодежь, уже по одному своему молодому незнанию, не могла одновременно признавать и отрицать, уважать и разбирать. Ей требовались категорические ответы на ее вопросы, и непременно на все сразу — без недомолвок и сомнений. Она не только не чувствовала оторванности от окружающей среды, а была наоборот твердо убе-

ждена, что не соглашаться с ней свойственно лишь «дряхлым отжившим ретроградам», а всему живому стоит лишь услыхать «новое слово», чтобы присоединиться к ней. У нее развилась поэтому непреодолимая потребность распространять свои юные и резкие взгляды, приводившие в сильнейшее негодование не только действительных «ретроградов», но и многих очень образованных людей старшего поколения. Многочисленная, взволнованная и смелая — молодежь не могла довольствоваться и беседами за чайным столом; ей нужны были многолюдные сходки. Все эти свойства и потребности быстро поставили ее во враждебное отношение к правительству. После запрещения сходок и воскресных школ, приговора над Михайловым, в особенности же после ареста Чернышевского, все «молодое поколение», «новые люди», «нигилисты», как называли их тогда, всей душой возненавидели правительство и причислили его к тем «самодурам», которым уже не долго коптить небо.

Русская образованная среда вступила наконец, уже не отдельными единицами, а широким, сильным течением захватывавшим хоть на мгновение все способное думать и чувствовать в тот возбужденный, революционный период, который пережила Западная Европа.

Из такой среды не могли не начать выделяться группы наиболее искренних и смелых юношей, готовых вступить в активную борьбу. И действительно, воспитавшиеся под влиянием своих старших братьев поколения семидесятых годов выставили такой огромный процент серьезно преданных своему делу борцов, какой едва ли был когда превзойден учащимися поколениями Франции и Германии в самые горячие времена их революционного движения.

Несомненно, что низвержение самодержавия было ближайшим завоеванием, лежавшим на пути этого движения. Несомненно также, что русские, как и всякие другие революционеры, нуждались прежде всего в такой программе, которая санкционировала бы их деятельность, как борьбу за интересы всего народа, за общее счастье, и что поэтому они не могли явиться исключительно политическими революционерами, как не могут и теперь, не переставши быть революционерами, забыть социализм и заняться исключительно вопросом о политической свободе и «правах человека».

Эта свобода, эти права для тех, кто говорит о них теперь, имеют совсем не тот смысл, какой имели когда-то для революционеров. В старом революционном смысле уже никто на свете говорить о них не может.

Сами побежденные остатки французских якобинцев еще в 1797 году выступили в заговоре Бабефа сторонниками комму-

низма, признавши, что только при устранении имущественного неравенства и могут осуществиться для народа права человека.

Последней, развитой формой этого коммунизма, основанной на данных, выработанных человеческой мыслью во всех областях знания, является современный социализм — социал-демократия.

Если бы наше революционное движение могло с самого начала воспользоваться опытом революционной Европы и результатами ее мысли, оно стало бы в борьбе с самодержавием на точку зрения союза коммунистов, боровшегося в 48-м г. за политическую свободу не как за свой конечный идеал, а как за первый шаг в той социальной революции, которую ставил своей целью.

Сосредоточив все силы на пропаганде социализма среди городских рабочих, русские революционеры смотрели бы на борьбу за политическую свободу, как на один из эпизодов долгой борьбы революционного пролетариата, как на его первую битву, дающую громадный размах всему движению, удесятеряющую разлив социалистических идей и дозволяющую движению, после победы, перейти в следующий фазис: от организации тайных кружков обратиться к открытой организации рабочих масс.

Взявшись за это дело, наша революционная интеллигенция наверное не растратила бы задаром своих сил, и для борьбы с русским самодержавием давно существовала бы революционная армия.

К несчастью, целый ряд и исторически неизбежных и случайных влияний сперва, с самого начала движения, отстранил молодую русскую интеллигенцию от серьезного знакомства с Европой, а потом заставил ее уже сознательно отвернуться от Запада, решив, что «не про нас писали» и думали его мыслители, что для нас нет ничего поучительного в его истории.

VII.

В первый момент пробуждения русским людям было не до Европы. Освобождение крестьян и устройство их быта естественно должно было привлечь к себе все внимание образованной среды. Затем подросшему поколению «новых людей», взбунтовавшихся против бытовой мудрости, необходимо было оправдать и осмыслить свой бунт, создать новую нравственность, взамен целиком отвергнутого житейского кодекса. Удовлетворению этой потребности посвящены были силы значительной части любимой молодежью литературы шестидесятых годов.

Из авторитетных писателей того времени едва ли не один Чернышевский заботился о распространении экономических и

исторических знаний среди молодежи. И на долгие годы мы в этих областях остались при тех сведениях, какие успел он сообщить нам в течение своей недолгой литературной деятельности.

За это время мы потеряли, так сказать, нить революционной мысли Запада, а вместе с тем и самый интерес к общественным наукам.

В этом играло не малую роль и то положение, в каком очутились эти науки в самой Европе к тому времени, когда начало складываться наше движение.

Вместе с наступившим после 48-го года отрезвлением образованных слоев европейской буржуазии от излишнего пристрастия к свободе и «справедливости» по отношению к низшим классам, их покинул и всякий идейный, теоретический интерес к общественным вопросам. Меньше и меньше стало появляться замечательных произведений и даже просто талантливых профессоров по всем отраслям знания, имеющим какое-нибудь касательство с жгучими социальными вопросами.

Изучение этих вопросов переселилось в самой Европе из студенческих квартир, из широкой, хорошо оплачиваемой литературы на чердаки и в подвалы рабочих жилищ, в грошевую рабочую литературу и уже не мозолило глаз, не напрашивалось само собою на внимание русской публики, как это было, несмотря на николаевские запоры, в первой половине XIX века.

Широко и сильно, на виду у всех, развивались теперь в Европе одни естественные науки, захватывая на свою службу все лучшие умственные силы буржуазии.

Лишь в этих «далеких от мирских треволнений» областях протрезвленный буржуа мог теперь думать и говорить спокойно и беспристрастно, без натяжек и умалчиваний, убивающих всякую теоретическую мысль.

В области общественных наук его выводы уже сделаны заранее. Он не может не доказывать, что существующий общественный строй необходим и вечен в своих основах, и если нуждается в некоторых поправках, то лишь в частных, ничуть не нарушающих общего принципа господства буржуазии.

Литературные произведения этого направления стояли в слишком резком противоречии с историческим моментом, переживаемым русским обществом, и не могли пользоваться его симпатией. Зато преобладающее развитие естествознания сильно повлияло на нашу публику и отразилось также на ее отношении к общественным наукам.

Даже наша революционно-настроенная молодежь пришла, под несомненным влиянием современной западной буржуазии, к тому убеждению, что «учиться» можно только естественным, вообще

«точным» наукам, а по общественным можно «прочесть» что-нибудь на досуге, но можно и не читать. Ничего нужного в них нет, их выводы произвольны и не обязательны.

К действию общего умственного состояния европейской буржуазии на нашу интеллигенцию присоединилось еще в самом начале революционного движения влияние двух русских европейцев: Герцена и Бакунина. Люди сороковых годов, члены революционной интеллигенции, они оба были поражены катастрофой, последовавшей за Февральской революцией, оба убедились затем в полнейшем прекращении всякого революционного течения среди европейской буржуазии. Революция же народная, чисто рабочая, не предводительствуемая никакой партией, состоящей из людей с высшим образованием, обоим представлялась каким-то разрушительным хаосом, долженствующим смести всю цивилизацию.

Бакунин возвел этот воображаемый хаос в теорию и создал из него свою анархию. Герцен под влиянием своего разочарования стал сильно склоняться к славянофильству, и оба одинаково подрывали в наших глазах значение и науки и истории Европы, оказавшейся какой-то колоссальной ошибкой.

Таким образом, в деле выработки своей программы, русское движение было предоставлено своим собственным силам. Все «западное к нам неприменимо», думали мы и считали, что знаем об этом Западе совершенно достаточно, чтобы «избегать его ошибок».

Но Запад жестоко отомстил нам за это презрение. Мы волей-неволей все-таки вырабатывали свои воззрения под сильнейшим его воздействием. Только вместо основательно изученных и понятых фактов и теорий мы имели в своем распоряжении лишь смутные, до отвлеченности краткие положения, которые именно вследствие своей краткости и отвлеченности превратились у нас в особого рода исторические предрассудки и недоразумения, толкавшие наше движение на ложные практические пути, ничуть не мешая нам в то же время повторять и старые, давно уже выясненные, теоретические «ошибки Запада».

Одной из таких повторенных «ошибок» было перенесение добродетелей, которыми великодушные французы оделяли весь род человеческий в его «естественном состоянии», а немцы забрали было в исключительное пользование своего народа, на наших крестьян.

У немцев, не слыхавших еще о социализме, германский «народный дух» должен был осуществить тогдашний идеал общего счастья, основанный на свободе и добродетели.

Что касается до нас, то мы слыхали об ассоциациях, считали их за социализм и надеялись, что наш «народный дух» разовьет

этот социализм из общинного землевладения, свергнув правительственный гнет и водворив анархию.

По сложившейся у нас программе, задача революционной интеллигенции заключалась в том, чтобы своею проповедью вызвать, или вернее ускорить, и направить готовящееся, по предположению, крестьянское восстание.

Городские революции, приводившие на Западе лишь к изменению политических форм, были в наших глазах его главнейшей «ошибкой». Мы радовались мысли, что «наши города те же деревни», а «городские рабочие те же крестьяне», и предполагали, что в будущем строе города превратятся уже в совершенные деревни, а рабочие в крестьян. Поэтому в глазах революционной интеллигенции место настоящей серьезной деятельности было лишь в деревне. Но приготовляясь к этой деятельности, многие из народников начинали пробовать свои силы на пропаганде среди рабочих.

Собственно говоря, самостоятельное движение в рабочей среде не имело большого значения в глазах народников. Рабочие были важны для него, главным образом, в качестве пропагандистов среди крестьян. Для рядового рабочего, не обладающего выдающимися талантами, способного действовать лишь с массой, в народнической программе не было ни места, ни дела, ни будущего. Он должен был ждать крестьянской революции и превратиться затем в крестьянина. Мог, на худой конец, устроить тогда и городскую ассоциацию, но эти последние до такой степени опротивели интеллигенции, заводившей их по образцу Веры Павловны и потерпевшей полнейшую неудачу, что говорить о них увлекательно она была решительно не в состоянии.

Положить начало прочному, самостоятельному движению в рабочей среде эта анти-рабочая пропаганда, конечно, не могла. Но так восприимчива оказалась сама среда, что при малейшей усидчивости стремившихся в деревню пропагандистов их деятельность приносила плоды; а те выдающиеся личности этой среды, на которых случайно наталкивалась интеллигенция, выделялись и становились въ ее ряды.

Не долго длилась наша грандиозная мечта поднять крестьян и явиться инициаторами народного освобождения. Год-два — и революционеры почувствовали, что такая задача им не по силам. На время надежды сосредоточились на самостоятельных крестьянских бунтах, которые интеллигенция должна была расширить и объединить своим участием. Но с каждым годом бледнела и эта надежда.

Перед началом «террора» сильнейший из тогдашних революционных кружков «Земля и Воля» хотя и затрачивал гораздо

больше сил на поселение среди крестьян, чем на деятельность среди рабочих, но мог похвастаться значительным успехом именно в среде последних. Поскольку велась пропаганда, она была очень успешна. Участие в стачках, помощь, которую организация оказывала при них рабочим, начала создавать «Земле и Воле» особого рода популярность в рабочей среде, не затронутой никакой пропагандой: «студент» начал казаться петербургским рабочим необходимым элементом при всякой стачке. Таким образом у «Земли и Воли» оказывалось отсутствие всякого заметного успеха там, где он был важен по программе, и значительный успех там, где по программе он не имел серьезного значения. Успех был видимо приобретен, вдобавок, не благодаря, а вопреки программе. Сами распропагандированные по этой программе рабочие пытались уже внести в нее свою разрушающую поправку, в виде требования политической свободы, которая, как утверждали рабочие, нужна им теперь же, не дожидаясь будущего деревенского рая. Такое противоречие между дававшимся в руки делом и программой не могло длиться до бесконечности. Чтобы с увлечением отдаться рабочему движению, интеллигенции надо было отбросить свою крестьянско-народническую программу и заменить ее программой рабочего социализма. А для такой замены приходилось перестроить предварительно все свое миросозерцание, признать правым и изучить тот Запад, «ошибки» которого мы так гордо поправляли, и покончить с мечтами о специально русском социализме. Между тем поколебалась лишь надежда повести крестьян на завоевание этого социализма, сам же он был еще тверд и непоколебим в умах народников. Поэтому начинавшаяся связь между революционной партией и рабочими держалась на волоске и могла быть заброшена при первом случае, дававшем другое поле деятельности.

VIII.

Сильное сочувствие, которым встретило большинство нашего общества первые, единичные политические убийства, и тот исход, который давали эти убийства накопившейся у революционеров ненависти к правительству, сразу создали такого рода деятельности большую популярность в среде народников. Очень скоро для политических убийств нашлось определенное место в их программе. Явилось предположение, что эти убийства терроризируют правительство и дезорганизуют его силы. Террористы явились, по программе, охранительным отрядом действующей в народе партии.

Между тем напряженно воинственное настроение, поддерживаемое удачными предприятиями, все усиливалось,—террор неудержимо притягивал к себе большинство сил и средств. Первоначальное место в программе уже не соответствовало его значению. Через год, после первых фактов этого рода, в среде террористов приобрела уже право гражданства та мысль, что деятельность в народе совершенно бесполезна, что революционная интеллигенция сама по себе достаточно сильна, чтобы, дезорганизовав правительство, снять с народа давящий его гнет.

За этим первым изменением в старой народнической программе естественно последовало другое. Анархия, безгосударственность необходимо предполагала самодеятельность и революционность крестьянства. При признанной неподвижности деревень, одной дезорганизацией, одним устранением центрального правительства еще ничего не достигалось; надо было стать на место этого правительства, чтобы избавить народ от всей системы лежащего на нем гнета, от всех его местных утеснителей. Идея анархической безгосударственности уступила место идее захвата власти друзьями народа, направляющими силу этой власти к его благу. Народники партии «Народной Воли» из анархистов стали демократами.

Все сконцентрировалось вокруг террора.

Народники, «чернопередельцы», оставшиеся верны старой программе «Земли и Воли», понимали, что интеллигенция не может одними собственными силами освободить народ, понимали и то, что террор вовсе не дезорганизует сил правительства, но этой новой, растущей иллюзии они не могли ничего противопоставить, кроме старой, уже померкшей надежды на крестьянские восстания, и не могли поэтому не стушеваться перед террористами.

Геройская борьба этих последних продолжала держать в возбужденном настроении значительное число мирных либеральных обывателей, отозвалась на офицерстве и глубоко волновала студенчество.

Я ничуть не сомневаюсь, что за три года террора не раз бывали моменты, в которые петербургская интеллигенция—а она-то и важна—была до такой степени взволнована, что будь передовая часть рабочего класса заранее разбужена социалистической пропагандой, привыкни петербургский рабочий к мысли о силе и самостоятельном значении своего класса—одним словом, будь тогда в Петербурге возможно восстание, которое выставило бы на своем знамени требование свободы и созвания народных представителей, петербургское общество отлично выполнило бы свою роль. Студенчество с головой отдалось бы восстанию и разжигало

бы его. Значительная часть офицерства усмиряла бы восстание так вяло и неохотно, что дала бы ему время разгореться. Либералы с своей стороны подали бы сколько угодно адресов и петиций—в такое время это совершенно безопасно—и сделали бы все возможное, чтобы воспользоваться восстанием.

Но хотя «Народная Воля» признала важное значение рабочих для революции, и в 1880 году старалась действовать в смысле возбуждения в них симпатии к политическому перевороту—никакое восстание не было, конечно, мыслимо. Такие великие задачи, как пробуждение в массе тех или иных идейных, сознательных симпатий, в несколько месяцев не делаются даже при самой усиленной работе, а «Народная Воля», занятая громадными приготовлениями к цареубийству, могла уделять на второстепенное для нее рабочее дело лишь остатки своих сил. Рабочие, распропагандированные еще при «Земле и Воле», сами увлеклись террором и приняли в нем блистательное участие; но для этого участия они, по самым необходимым условиям конспирации, должны были совершенно изолироваться от массы своих товарищей. Удаление же из рабочей среды таких людей, как Халтурин и другие рабочие террористы, не могло не действовать гибельно на едва начинавшееся движение.

А без восстания, без всякой серьезной связи с рабочим классом, что могли сделать взволнованные террором мирные обыватели-либералы [1]? Что могла сделать доведенная до белого каленья масса студенчества?

Террор и все вызванное им настроение было сильной бурей, но в закрытом пространстве. Волны поднимались высоко, но волнение не могло распространиться. Оно только исчерпывало, истощало нравственные силы интеллигенции.

Упадок движения в восьмидесятых годах не может быть приписан одной ловкости полиции,—в нем играла несомненную роль и нервная усталость самой интеллигенции. Но еще бесконечно большую роль в утрате самими революционерами прежней бодрости и увлечения играло, конечно, ослабление теоретической, идейной основы движения.

---

[1]) Либералов упрекают, зачем не подавали они адресов и прошений с требованиями конституции. Но при терроре сколько-нибудь приличные прошения этого рода были гораздо опаснее, чем в другое время, да он и не давал к ним никакого повода. К неприличным же прошениям, переполненным проклятиями крамоле и обещаниями извести социалистов, честные идейные либералы совершенно неспособны. Инициаторами подобных адресов от земств являлись, наверное, не либералы, а люди преждевременно народившегося у нас, так сказать, предвосхищенного историей типа протрезвленных буржуа, которым свобода не нужна, а нужно лишь «самоопределение» по части хозяйства, как земского, так и общегосударственного.

Люди, вырабатывавшие свое миросозерцание в 80-х годах и говорившие о русской самобытности, об общине и ее развитии, вероятно и представить себе не могут, чем был для людей 70-х годов этот «русский социализм», это будущее вольное, счастливое крестьянское царство без царя и без правительства! Но жизнь срывала постепенно с этой иллюзии, игравшей для нас одушевляющую роль революционного идеала, ее блестящий ореол.

К концу 70-х годов революционность крестьянства уже пошатнулась в умах народников, но «русский самобытный социализм» был еще цел—мы теряли лишь путь к его осуществлению.

Террор, подменивши в программе силу крестьянства боевыми силами интеллигентных кружков, возвратил на минуту старой иллюзии всю ее обаятельность.

Но в 80-х годах сам «русский социализм» из живого, более или менее цельного миросозерцания сперва превратился, под пером г. Тихомирова, в мертвый догмат, а потом исчез безвозвратно. Движение потеряло свой идеал, свою теоретическую программу, а между тем весь склад, принятый русской мыслью за последние 30 лет, мешал и мешает нашей революционной интеллигенции принять единственное возможное для нее теперь революционное миросозерцание научного рабочего социализма.

Безграничный эклектизм русской интеллигенции, не признающей в области общественных вопросов ничего обязательного, стройного и последовательного, дозволяет ей, не принимая и не оспаривая этого миросозерцания, то оставлять его в стороне, откладывая до «конституции», то вырывать из него отдельные клочки, постоянно пытаясь *придумать* для России что-нибудь особенное. А между тем весь круг самобытных иллюзий уже исчерпан, и ничего не придумывается.

При отсутствии ясной, широкой, идейной программы, в образовывавшихся кружках не вырабатывалось и того увлечения, той настойчивости и энергии, которые необходимы для всякой революционной деятельности.

Самый террор, продолжая сосредоточивать на себе всю любовь, все революционные помыслы большинства кружков, теряет свою широкую цель, а вместе с тем и прежнюю бодрость и самоуверенность. Им не надеются уже сломить, уничтожить самодержавие. Террор становится средством *склонить* правительство к уступкам при содействии общества. К давнишним упрекам обществу за его нереволюционность и апатию начинают примешиваться усиленные надежды на его исправление посредством «агитации во всех слоях». Давлению общественного мнения на правительство придается все большее и большее значение. Даже террор сводится к какому-то вспомогательному средству при этом давлении и чуть

не ставится на одну доску со всеподданнейшими земскими адресами и прошениями.

Программа «Свободной России», сводившая уже все и вся к одной «силе общественного мнения», к адресам и прошениям, не могла, по самой своей последовательности, иметь успеха [1]). Но в сущности, к этой программе вела прямым путем вся логика таких, контрабандой пробравшихся в революционные круги, антиреволюционных расчетов—не на силу своих идей, не на народное восстание, а на уступчивость врага и силу общества.

IX.

Посмотрим однако, чего именно могут ждать революционеры от общества и основательны ли наши вечные жалобы на его нереволюционность.

В том смысле, в каком говорится, напр., что западная буржуазия была революционна до 48-го года, русское общество уже давно революционно. Оно революционно, если брать его всего целиком вместе с его революционными элементами. Революционность общества в том-то и выражается всего ярче, что часть его молодежи становится революционной. В том же самом выражалась и былая революционность образованных слоев западной буржуазии.

Неудовлетворенная потребность самой распоряжаться делами своей страны порождала в ее среде общее недовольство всем хо-

---

[1]) Нам случилось уже несколько раз упоминать о «Свободной России», прекратившейся на третьем номере и не представлявшей из себя, ни в литературном, ни в идейном отношении, ничего замечательного. Этот орган интересен для нас не сам по себе, а лишь в качестве яркого до каррикатурности проявления того, что можно бы назвать «понижением тона» русских революционных програм.

Щедрин приводит в одной из своих хроник следующее объяснение «риторической фигуры понижения тона», полученное им от одного фельетониста «Московских Ведомостей»: «Понижение тона есть такое оного ограничение, которое по наружности хотя и не касается внутреннего содержания, послужившего поводом для словесного упражнения, но на деле пресущественнейше оное изменяет и претворяет».

«Тон» всех воззрений некоторой части нашей революционной интеллигенции постепенно «понижался», а ей казалось, что она производит в своих програмах лишь некоторые «ограничения», не касающиеся их внутреннего содержания. На деле же оказалось такое существенное изменение самых воззрений, что получилась возможность появления очень *умеренно* либерального и совершенно определенно антиреволюционного органа, в котором и редакторы и все сотрудники (за исключением г. Драгоманова, который нисколько не изменился и отлично знает, что делает) революционеры и, даже издавая свой удивительный орган, продолжали считать себя таковыми.

Это во всяком случае очень характерный признак времени.

дом этих дел, критическое, недоброжелательное отношение к правительству, склонность к размышлениям над общественными вопросами, сочувствие к угнетенным и более или менее решительное признание общественной несправедливости по отношению к низшим классам. Отсутствие политической власти в ее руках дозволяло ей при этом совершенно искренно сваливать главную ответственность за все несправедливости на правительство.

Все это проявлялось в бесчисленных оттенках от умеренного либерализма до самых демократических воззрений, сказывалось везде и во всем: в науке, в литературе, в гостиной, в семье и в школе.

В таком же состоянии давно уже находится и русское общество. Его дети давно уже растут в атмосфере «хороших слов», «гражданской скорби» и негодования на правительство.

Но как бы ни была сильна гражданская скорбь человека, так или иначе пристроившегося и ставшего солидным отцом семейства и «членом общества», его личное, частное положение настолько хорошо, настолько лучше положения большинства, что он не может не дорожить им больше всего на свете, не может ради своего общего недовольства рисковать своим частным довольством. Отсюда неизбежное противоречие между его словами, вызываемыми самым искренним общим недовольством, и делами, необходимыми для поддержания его частного довольства.

Молодежь слышит добрые речи о народе вообще и видит злые поступки с его ближайшими представителями в лице местных крестьян. «Не разориться же!» — Поступков требует хозяйство.

Молодежь слышит в интимных разговорах самую резкую критику действий правительства и самые нелестные эпитеты по адресу губернатора или местного жандармского полковника и видит угодливость и перед губернатором и перед полковником и во всяком случае полнейшее отсутствие протеста даже против действий урядника. «Нельзя, могут выйти неприятности, у меня семья, дети, я обязан о них заботиться».

Это совершенно естественно. Солидные люди не могут не быть практичными. И наоборот, было бы совершенно противоестественно, если бы в неспокойном, неуравновешенном обществе молодежь оказывалась вся сплошь практичной и уравновешенной.

Наиболее впечатлительным и правдивым юношам нравятся хорошие речи и противны благоразумные поступки. Ни в хозяйство, ни в службу, ни в заботы о семейном благосостоянии они не успели втянуться. Этого спасительного балласта, мешающего солидным людям пускаться в рискованные плавания, у них не существует, и они разрывают с обществом, составляют себе идею *общего* блага и идут бороться за нее, не считая ни жертв, ни

сил, отбросив всякие помышления не только о выгодах, но о самой жизни.

Общество огорчается, конечно, таким результатом своей собственной неуравновешенности. Огорчалось им в былое время и западное общество, и тем не менее, бессознательно толкая на опасность и бесчисленные страдания своих собственных детей, оно тем самым подготовляло свое окончательное торжество, выполняло одну из своих революционных задач.

Эту задачу еще недавно очень широко и очень успешно выполняло и русское общество.

Вторая обязанность, лежавшая на западной буржуазии в ее революционном периоде, заключалась в заявлениях правительствам различных положений и требований и в причинении тем из них, которые сопротивлялись ее требованиям, различных затруднений и неприятностей.

Этой обязанности наше общество не выполняет. Но едва ли справедливо было бы предположить, что такое упущение с его стороны происходит единственно от его большей трусости или меньшей возбужденности по сравнению с буржуазными классами Западной Европы, переживавшими свой период недовольства и стремления к ограничению верховной власти. И те требовали и протестовали лишь постольку, поскольку у них имелись уже в законах и учреждениях неоспоримые права на такие действия, и поскольку они были убеждены, что правительства не могут обходиться без содействия этих учреждений, а следовательно, законным отказом в содействии им можно причинять серьезные неприятности и затруднения.

Ничего подобного нет у русского общества. Нет и у земства, на которое возлагаются у нас по-преимуществу просительские обязанности. Прошения же, не подкрепленные никакой угрозой, слишком уж недействительны, имеют слишком патриархальный характер, чтобы сильно увлекать наше общество [1]).

---

[1]) Правда, прусские провинциальные чины так же мало могли вредить правительству, как и наши земства, а г. Драгоманов в 1 номере «Свободной России» (стр. 20) уверяет нас, что «прусский абсолютизм пал... в 47 году, когда король под давлением общественного мнения, выражавшегося между прочим и в требованиях провинциальных земских собраний, созвал объединенное их собрание». Надо только заметить, что созванное собрание сильно огорчило либеральное общественное мнение Пруссии и было принято им не за выполнение «обещаний 13-го года», напоминаниями о которых было так удобно дразнить правительство, а за их отрицание. Собрание не пользовалось даже правом периодичности, а созвано было на один раз для заключения займа. Сильно стесненная печать не получила при этом ни малейших облегчений, и никакие иные «права человека» не были расширены. Уступка же, которую, по сообщению той же статьи, Австрийское правительство сделало

Третья задача либеральных элементов высших классов—это парализовать энергию правительства при усмирении восстания. К ее выполнению мы не дали нашему обществу ни малейшего повода.

Но, мне кажется, трудно сомневаться в том, что и у нас, как в былой Европе, нашлись бы люди, исподтишка сочувствующие восстанию и старающиеся остановить кровопролитие. Нашлись бы, а это главное, такие офицеры, которые вместо того, чтобы сразу и энергично скомандовать «пли!», принялись бы действовать мерами кротости и увещания, давая тем время толпе с такою же кротостью заласкать солдат, окружить их, повынимать у них ружья из рук и расстроить их ряды.

Офицер и сам, если не теперь, то когда-то, хоть на время да сочувствовал тем требованиям, которые предъявляют восставшие. Если не в его собственном, то во многих знакомых ему семействах, есть студенты, находящиеся, вероятно, там, среди толпы, в которой от одного его слова сотни полягут мертвыми. Поди-ка, скомандуй тут «пли!»[1]).

Во всяком случае, по этому пункту исправность общества, по отношению к его революционным обязанностям, остается неизвестной, а что мы своих не выполнили—это несомненно.

То же можно сказать, конечно, и о четвертой, последней задаче общества: воспользоваться плодами борьбы рабочих и революционной интеллигенции.

своим подданным еще накануне восстания 13 марта 1848 года, заключалась в обещании созвать земских представителей с *совещательным* голосом по тем вопросам, которые правительство им *укажет*. Но и это обещание, про которое не особенно либеральный Шпрингер (Gesch. Oest., т. 2, стр. 182) говорит, что оно «напоминало нарисованные кушанья, предназначенные для утоления сильного голода», было дано никак не вследствие адресов читального общества или студентов, а вследствие волнений в южной Германии, заставлявших правительство ожидать со дня на день восстания и в Вене, которая уже начинала волноваться. В другое время, за одну фантазию подавать подобный адрес, студентов преспокойно рассадили бы по тюрьмам.

Да, такую-то конституцию нам когда-нибудь дадут.

[1]) Такое мнение о русских офицерах даже в конце 80-х годах может быть уже не соответствовало действительности, но оно вполне соответствовало знакомому мне типу офицера 70-х годов. Офицерство в то время гораздо больше смешивалось с обществом и разделяло его настроение. В тогдашних военных гимназиях преподавали те же учителя, как и в гражданских, и тут и там читались одни и те же книжки, в старших классах велись те же споры и разговоры. Если военные гимназии и отличались от гражданских, то скорее в выгодную сторону. За это-то их и превратили снова в корпуса. *Примечание 1906 г.*

X.

Итак, по нашему мнению, с одной стороны, влить в русское общество революционную готовность на борьбу нет ни малейшей возможности, а с другой—вовсе не в его апатии лежит и главное препятствие к нашему освобождению. Оно стоит на том же пути, на котором стояли и европейские образованные слои в свои революционные периоды. Уклонились от европейского пути мы, революционеры, а не общество.

Так как революционизировать общество невозможно, то и соединиться с ним революционная молодежь могла бы не иначе, как переставши быть революционной, что вовсе не значило бы соединиться, а просто исчезнуть, не усиливши этим, вдобавок, ни на волос партию мирных конституционалистов. Для них во сто раз важнее было бы приобретение нескольких придворных, в особенности из высших чинов полиции, чем всех революционеров. Ведь наши конституционалисты обречены рассчитывать единственно на «силу общественного мнения». А дело известное, что на всех и каждого всего сильнее действует мнение ближайшего, наиболее симпатичного ему общественного круга. Что же может быть ближе, что может быть симпатичнее... полиции?

«Свободная Россия» так и понимает, повидимому, под соединением общества с революционерами простое исчезновение последних.

Почти во всех статьях этого органа революционерам читаются длиннейшие наставления сплошь отрицательного свойства. Не делай того, не говори этого! Не упоминай о социализме, не трогай рабочих, не печатай брошюр, не будь отщепенцем, не кричи «вы, либералы», а говори «мы, общество».

Положительная часть практической программы «Свободной России», развиваемая в статьях г. Драгоманова, сводится, исключительно, к бесконечной и безграничной подаче прошений. Если современное общество, современные земства не подадут их в достаточном количестве, то тем же самым предстоит заняться «нашим младшим поколениям радикального направления», которым «самим надо будет стать людьми общества и земцами, и активными либералами» [1]).

То-есть: в младшем поколении на земские и иные подходящие для подачи прошений должности будут поступать люди того сорта, того типа, который раньше обращался к революционной деятельности. Иными словами, революционный тип исчезнет, слившись с

---

[1]) № 1, стр. 15.

бывшим и в самые горячие годы, гораздо более многочисленным типом юношей, уже на школьной скамье готовивших себя к мирной, легальной, благополучной деятельности. Но для того, чтобы получилось такое все сплошь практичное, уравновешенное юношество, нужно, чтобы у самого образованного общества, во всех его слоях, все нравственные понятия не залетали выше принципов, положенных в основу гражданского и уголовного кодекса, чтобы понятие об общем благе как можно ближе подошло к понятию об успешном взыскании недоимок, чтобы общество забыло и сатиры Щедрина, и песни Некрасова, и многое, многое другое... Надо создать вокруг подрастающего поколения такую нравственную атмосферу, которая окружает теперь хотя бы немецкое учащееся юношество. Надо, чтобы у подростков никогда не забилось сердце ни от каких идей, ни от каких «хороших слов».

Иначе того сорта юноши, которые прежде неудержимо стремились к революционной деятельности, не находя этого исхода, будут скорее кончать самоубийством или притуплять свою впечатлительность в каких-нибудь сектантских поселениях вроде Толстовских, а все-таки не превратятся в благополучных россиян, способных умеренно и аккуратно пройти все мытарства, обзавестись цензом и пробраться в земство или как-нибудь иначе устроиться в таком же почтенном положении. А у кого хватит на все это практичности и благоразумия, хватит и на то, чтобы не слишком торопиться с прошением, если с ним связан риск потерять заботливо созданное положение.

Все западные образованные общества находятся теперь в том уравновешенном состоянии, какое требуется для воспитания благоразумных юношей, но они пришли в такое состояние лишь после борьбы (руками рабочих и революционной интеллигенции) за участие в управлении и не раньше приобретения той или иной степени этого участия.

Трудно предположить, чтобы русскому обществу суждено было составить в этом отношении единственное исключение.

Но успокоится или не успокоится наше общество, будет или не будет оно подавать прошения, можно предположить, что представителям губернских земств или чему-нибудь в этом же почтенном и практическом роде, раньше или позже, будет дозволено съехаться и поговорить.

Темы для разговоров, всего вероятнее, будут даны самим правительством. Но предположивши даже, что почтенным людям будет дозволено выбирать их, они, помня пословицу, что «даровому коню в зубы не смотрят», сами постараются не «раздражать правительство», «не компрометировать благих начинаний», не затрогивать неприятных тем.

В число же приятных для правительства тем свобода слова, собраний, организаций, даже прекращение травли социалистов—все то, ради чего эти последние желают конституции—включено не будет.

То или другое подобие представительства, с теми или другими специальными целями, самодержавие еще может добровольно допустить, но свобода в подарок не выпрашивается.

Она вынуждается, завоевывается. Европейские «общества», т.-е. образованная, идейная часть тогдашней буржуазии, обобщавшая и возводившая в теории прогрессивные стремления своего класса, завоевывала нужные ей, в тот момент, свободы при помощи рабочих.

А рабочих будили и вовлекали в движение выделявшиеся из общества революционные элементы, заносившие в беднейшие слои городского населения весть о тех результатах, до которых додумалась в данный момент человеческая мысль, работавшая над вопросом о выходе из мучительного для громадного большинства народа современного строя.

В этом посредничестве между революционною мыслью и революционным классом, между наукой и рабочими, заключалась вся историческая задача революционных элементов образованного общества в Европе.

Если революционные элементы нашего общества отложат до конституции выполнение своей исторической обязанности: сообщить русским рабочим о выводах научного социализма — высшей ступени, достигнутой в настоящий момент революционною мыслью— то русское общество завоевать свободы, вынудить ее у правительства будет не в состоянии. Ему придется ждать всего от милости правительства и пытаться возбуждать в нем милостивое настроение путем прошений.

Предположим, что благодаря разным хозяйственным затруднениям самого правительства, его милостивое настроение начинает пробуждаться и русские граждане начинают получать кое-какие права.

Несомненно, что дарование этих прав начнется никак не с верхнего, идеального их конца: свободы слова, собраний, организаций и проч., а с материального, хозяйственного, соприкасающегося с нуждами самого правительства. И кое-кому от этого в России станет легче. Не разоренной части крестьянства — в ее ужасном положении могут хоть сколько-нибудь помочь лишь смелые, решительные меры. А все полумеры, о которых будет совещаться созванный полупарламент, преспокойно уместятся в карманах местных воротил. Не станет легче ни рабочим, ни социалистам, ни той части нашего общества, тенденции которой представлял, скажем, Щедрин.

Но часть земских деятелей будет удовлетворена. Земства приобретут некоторую самостоятельность по отношению к местной администрации. Будут более или менее довольны и представители нашей промышленности: их коллективные нужды получат в полупарламенте орган для своего выражения. Получит кое-какие поблажки и литература, и наиболее умеренные из ее оппозиционных течений будут удовлетворены. К тому же, у всех явится надежда, что дарованные учреждения способны к дальнейшему развитию, что маленькие права русских граждан будут постепенно расширяться.

И если, с годами, они действительно будут расширяться, то вместе с тем будет неизбежно суживаться и суживаться круг неудовлетворенной интеллигенции.

За весь этот период постепенно и без «потрясений» совершающегося развития русских представительных учреждений, останутся все старые и прибавятся новые резоны с пропагандой социализма и с организацией рабочих маленько погодить. «Права» на это еще не дано, и «назревшим», «ближайшим» вопросом русской жизни остается все то же приобретение прав все той же силой общественного мнения (иной-то без рабочих не имеется), получившего свой орган в полупарламенте.

Но вот, через много лет (ведь развитие есть дело постепенное), наш предполагаемый парламент приобретает право обеспечить законодательным актом свободу прессы, собраний, организаций.

Вся беда лишь в том, что еще раньше наступления желанного момента весь тон и цвет русскому общественному мнению начнут задавать уже не идеологи, возводящие свободу в принцип и способные признать право на распространение даже за теми идеями, которые считают вредными, а заправские, практичные буржуа, без самомалейших принципов—вот из тех, что подавали адреса с обещаниями искоренить социализм. Им вовсе не понравится перспектива занесения в Россию язвы рабочих социалистических организаций. И к закону о свободе печати будет сделано добавление, грозящее суровыми наказаниями за распространение идей, возбуждающих вражду между классами и колеблющих всякие священные основы. Соответствующие добавления будут сделаны и к законам о свободе организаций, собраний и проч.

О полезности всех этих добавлений напомнит нашему благоразумному парламенту европейская социал-демократия, да смутное брожение, стачки и беспорядки среди русских рабочих. Что же касается до революционной интеллигенции, то к тому моменту, когда окончательно обуржуазится наше общественное мнение, от нее не останется и следа. Протрезвленное общество воспитает молодежь, ни о чем не помышляющую кроме удовольствий, свойственных ее возрасту.

Таким образом, Россия без всяких бурь и потрясений, минуя все праздники Европы, благополучно перейдет из мрачных будней абсолютизма в будни буржуазно-консервативного строя, не приобретя за время перехода смущающего благополучие европейской буржуазии, сознательного, мыслящего рабочего класса.

Не вечно, впрочем, будет счастье и нашего буржуа. Русский рабочий класс проснется рано или поздно и без помощи революционеров из буржуазной среды. Его, во всяком случае, разбудит гром социалистической революции в Европе. Правда, проснувшись так поздно, он не сможет помешать нашей буржуазии двинуть русские войска на спасение священных устоев капитализма, и снова русская кровь будет литься за неправое дело, снова русская сила явится бичем и проклятьем освобождающихся народов. Однако, справившись с внутренними врагами, народы справятся, конечно, и с внешними.

XI.

Но неужели революционное движение русской интеллигенции, когда-то такое сильное, такое чистое, так искренно желавшее отдать свои силы на служение народу,—неужели оно одно прекратится, почти ничего для него не сделавши?

Нам хочется верить, что этого не будет, что русская революционная интеллигенция успеет во время покончить все свои недоразумения с научной революционной мыслью и всей душой отдастся своей исторической задаче, сконцентрирует на ней все свои силы и помыслы.

Многим кажется теперь, что рабочих уже много и долго пропагандировали, что их невосприимчивость к пропаганде доказана многолетним опытом.

Во-первых, не так уж много. Но дело не в том даже, много ли пропагандировали, а *что* и, главным образом, *как* пропагандировали.

Из всех дел, которыми занималась наша революционная интеллигенция, только рабочим делом она и не увлекалась, только в него и не вкладывала души. И причина такого отношения лежала вовсе не в характере самого дела и не в качествах интеллигенции, а в ее народнических программах, в ее миросозерцании, мешавшем ей видеть в успехе рабочего дела свой главнейший успех и от него ожидать своей победы.

Как же могли наши революционеры разбудить рабочих, заставить их поверить в свою коллективную силу, понять свое будущее значение, когда они сами в них не верили?

Но если бы русские революционеры смогли проникнуться той мыслью, что в передаче рабочим идей научного социализма заключается все их служение народу, все, что могут они для него сделать, и если бы они отдались этому делу с той любовью, с тем увлечением, какое вкладывали в былые годы в то, что считали своей главной целью, они несомненно имели бы успех. Русский рабочий не глупее и не тупее от природы никакого другого.

Той же передачей рабочим идей социализма они выполнили бы и свою долю работы в политическом освобождении страны. Только разбудивши рабочих, можно звать их на борьбу за политическую свободу, а без рабочих невозможна и самая борьба.

Только этим революционеры могли бы создать и такие условия, при которых были бы возможны серьезные меры в пользу крестьян. На эти меры способно только смелое, идейное правительство, а подобное правительство мыслимо лишь в медовые месяцы после победоносной революции, которую совершит пробужденный социализмом рабочий.

«Социал-Демократ» № 1, 1890 г.

Через 16 лет.

Статья «Револ. из буржуазн. среды», одна из первых моих литературных попыток. Нашим читателям, очень малочисленным в ту пору глубокой реакции и почти сплошь принадлежавшим к учащейся молодежи, статья говорила нечто для них тогда новое, а именно, что революционное движение русской молодой интеллигенции не представляет собой небывалого в истории явления, что подобные движения существовали в Западной Европе и выражали собой революционность буржуазии, «делавшей буржуазную революцию». Это было и остается, конечно, совершенно верным, но как же насмеялась история над моим тогдашним представлением о размерах будущей русской революции и о тех препятствиях, которые она встретит. Тех элементарных, всенародных сил, которые поднялись во Франции XVIII века, у нас, казалось мне, уже не будет. Реформы 60-х г.г. модернизировали наши учреждения и вслед за крепостным правом устранили из целого ряда других сфер старые способы воздействия местных властей, заменив их формами, заимствованными у конституционного Запада.

Во всей своей безграничности осталась центральная власть, сразу же вне закона было поставлено слово—печатное и устное, как и все «права человека», но для массы русских обывателей все эти права были в то время не касаемой до нее вещью. Мучительно чувствовала их отсутствие только интеллигенция, непосредственно и сознательно нуждавшаяся в этих правах. Она одна и была революционна, но в 80-х г.г. притихла и интеллигенция, придя в отчаяние от своего бессилия.

В конце 80-х г.г. тишина господствовала полнейшая, а между тем правительство уже сделало к этому времени очень многое, чтобы подготовить такой великий, повсеместный, полный героических эпизодов народный подъем, шире которого не знала и Франция XVIII в. Подготовляло оно его с двух концов. Совершался

гигантский, единственный в мире опыт страны, где рядом с развивающимся капиталистическим производством не только сохранялся, но оживлялся и умножал свои проявления такой безграничный абсолютизм, какого никогда не знала ни одна страна Западной Европы, а с другой стороны, не знали и монархии азиатского типа, где размах произвола ограничивала косность самих властей, не выходивших за пределы традиции.

У нас со старыми традициями было давно покончено, и всю свою свободную от всяких стеснений мощь правительство направило на то, с одной стороны, чтобы, зажав рот «испорченной интеллигенции», держать народ на том умственном уровне, на каком застали его реформы, сохранять в целости его «исконное миросозерцание», т.-е. тот его психический тип, который всюду складывается при натуральном хозяйстве. С другой стороны, как ускоренной постройкой железных дорог, так и всей своей финансовой системой правительство искусственно ускоряло неизбежную гибель этого хозяйства. Процесс перехода от старого натурального хозяйства к новому, сопровождаясь уничтожением домашнего производства предметов потребления крестьянской семьи, уничтожением старых подсобных промыслов и громадным увеличением необходимости в деньгах, не может не быть критическим при всяких условиях. Необходимый переход к интенсивному хозяйству, приспособление его к рынку совершается тем легче, чем в большей степени вторжение в деревню новых хозяйственных условий сопровождается вторжением в нее новых знаний, культуры во всех ее видах, уничтожением всякой опеки, гарантиями от всякого произвола, всем тем, словом, без чего невозможно развитие напряженной энергии, умственной подвижности и предприимчивости, необходимых для приспособления к новым условиям. Неизвестно, справилось ли бы крестьянство с этими условиями без увеличения своего землевладения даже и на полной свободе, но несомненно, что при всех тех путах, которыми оно было так крепко стянуто, не помогло бы ему и увеличение.

Всю силу власти правительство употребляло на то, чтобы не допускать в деревни ничего нового, кроме разорения. И даже тогда, когда результаты этой ужасной комбинации двух систем сказались для крестьян в общих голодовках, перемежающихся частичными—правительство и тут позаботилось прежде всего об обеспечении безмолвия и бездействия интеллигенции, о том, чтобы не попадало в печать «голод», чтобы не было «преувеличенных» сведений о «недороде», чтобы интеллигенция не занесла голодающим вместе с хлебом книжку и во избежание этой книжки мешало доставлять хлеб. Дальше и дальше ширилось и росло разорение, и по мере его роста приумножались заботы прави-

тельства об увеличении бесправия крестьян, произвола начальников, об усилении борьбы с школой, с книгой, потребность в которой, несмотря ни на что, росла в деревне,—с интеллигенцией в особенности, пытавшейся так или иначе притти на помощь крестьянам.

Заставляя ребенка переходить к твердой пище, ему систематически выдергивали прорезывавшиеся зубы.

Одна только безнадежность изолированных деревень, не знающих, что думает и делает страна, мешала восстаниям крестьян начаться гораздо раньше, и первая же надежда, занесенная в деревни борьбой в городах, подняла и их, а старательно культивированная первобытность повела на разгром поместий.

Заботясь о первобытной чистоте крестьянской души, с одной стороны, и о росте бюджета — с другой, правительство не хотело видеть, что при таком росте первобытность-то именно и гарантирует крестьянам голод и отчаяние, а помещикам разгромы при первом же луче блеснувшей надежды.

Не предвидело, вероятно, правительство, что его двойственные заботы о духе и материи приведут к неожиданным результатам также и в другой области. Нагромождая рельсы, машины, мастерские, всячески вызывая к жизни фабрики и заводы, оно не думало, вероятно, что эти бездушные вещи соберут воедино такую массу горячих душ, которая своим пламенем обратит в ничто все результаты многолетних трудов над замораживанием России с ее духовного конца: книг, школ, всяких объединений людей для каких бы то ни было общественных целей.

А эти именно труды давно уже сосредоточивали на себе все заботы правительства. Им были подчинены все функции государственной власти, за исключением финансов. Полицейско-охранительный аппарат накладывал свою печать на все и вся.

Понятно, что при преобладании таких функций правительство не могло удержать и не удержало законов и учреждений «эпохи великих реформ». Не вернулось оно и к старому. Оно издавало новые законы, приноровленные к минутным потребностям или фантазиям, нагромождало всякие временные правила и циркуляры, отбрасывая их в сторону, как только они в чем бы то ни было стесняли начальственную распорядительность. Все более и более устраняло правительство всякие обязательные для себя нормы. Личная воля, не стесняемая никакими правилами, личная фантазия — вот что развивалось и разрасталось в последние десятилетия и дошло до апогея при «конституции».

Личный произвол, личная изобретательность над жизнью целого великого народа... и чья? «Чьего духа дети» эти сверхправители? В какой лаборатории они вырабатывались?

Министерство внутренних дел, в особенности со времени своей победы в 80-х годах над юной «крамолой», призвало себе на помощь, подчинило своим целям народное образование, юстицию, духовное ведомство,—с военным оно составило неразрывное целое.

Центр этого громадного аппарата составляет политическая полиция, охрана во всем ее разветвлении, а живую душу такой полиции, ее самую активную, творческую часть, составляет несомненно провокация.

А провокация — это та область, где по самой сущности дела «все дозволено», где нет ничего святого, как нет для людей этой области и ничего позорного или преступного, где все то, что считается позором и преступлением во всех чистых от нее областях человеческих отношений личных или общественных, здесь составляет профессию, в которой, как в аду, лица ценятся по своему искусству, по своим успехам в том, что отвратительно и ненавистно в глазах людей. Быстро возвысился при жизни и удостоился великих почестей после смерти первый виртуоз провокации Судейкин. В целости пронесли его сподвижники дух высшей провокации через весь период затишья, когда зачастую всю карательную энергию «охраны» приходилось упражнять над лицами «вредного образа мыслей», которые приводились к действиям лишь искусными маневрами провокации.

Когда вновь началось движение, распространившееся теперь на рабочий класс, пред провокацией открылось безграничное поле деятельности. Росла борьба, разрасталась, расширялась и та область, где «все дозволено». Дух провокации окрылялся, изощрялся, дерзал. Кишинев был первым крупным изобретением этого духа, 9-ое января—вторым.

Одновременное избиение в целом ряде городов вслед за манифестом 17 октября, долженствовавшее симулировать взрыв народной преданности самодержавию, было новым сложным проявлением той же изобретательности. С тех пор этот дух полной свободы делать населению все то зло, какое придет в голову, справляет свои оргии по всей стране, разделенной на куски между наиболее кровожадными рыцарями этого духа.

Население собиралось в толпы, слушало, пело, во всяком случае оно чуть не поголовно обрадовалось свободе, оно все виновато, к нему сплошь применимо все то, что съиздавна применялось к «крамоле», и даже гораздо большее.

Не одни только муки и разорение несет каждый лишний день современного режима, но что всего хуже, также и привычку к злодейству. Страшное чувство «все дозволено» человеку против человека, бывшее прежде принадлежностью только правящих

сфер, теперь точно гангрена расползается в разные стороны среди населения. С одной стороны, с вершин «охраны» военной и штатской из сферы политической полиции с ее разветвлениями «право на злодейство», щедро распространяется на каждого, кто заявит себя ее единомышленником. Стоит теперь любому Смердякову сказать, что убитая им жертва непочтительно отзывалась о «престол-отечестве», и его наградят, расцелуют начальственными устами, поставят в пример войскам. Стоит ему записаться в соответствующий «союз», и он получает прочное право всячески измываться над людьми, обращаясь к полиции в случае их сопротивления. Но еще печальнее другой результат карательных эксцессов правительства.

Чистым и гордым, дорожащим своей чистотою вышло на свет, на улицу освободительное движение. Ни одной умышленной жестокостью не запятнали его бесчисленные ряды борцов во время всеобщих стачек, многотысячных шествий и митингов. Тщательно избегали они даже простых неудобств для обывателей, поскольку эти неудобства не вытекали из самой сущности борьбы. И таким оставалось движение там, где длились некоторое время «дни свободы», и пока они длились, таким оставалось оно и на московских баррикадах, и во всех тех местностях, где на время достигало полного торжества. Но когда «карательная» политика прекратила открытую жизнь масс—их многолюдные митинги и широкие организации; когда властная сила массового общественного мнения перестала подчинять себе единицы, а безмерная жестокость правительственной мстительности притупила чувства, тогда язва безразличия ко злу замутила и окраины освободительного движения. Военная юстиция расширяет эту язву [1]) — вылечить ее радикально может теперь уже только свобода.

* * *

[1]) Правительство думает, что военно-полевыми казнями оно борется с единичными убийствами и «экспроприациями», на самом же деле, оно их поддерживает. Исключительная жестокость преследований, исключительная опасность таких действий сообщает их участникам ореол исключительного бесстрашия. *Смерть,* стоящая за спиною «экспроприатора», освящает его, допускает присоединение к грабителям таких юных существ, которых сама по себе ни в каком случае не соблазнила бы по крайней мере одна из отраслей этой деятельности: вооруженное вымогательство у частных лиц. Та же верная смерть пойманного «экспроприатора» заставляет огромное большинство населения, даже многих и многих из самих ограбленных тщательно избегать самомалейшего содействия поимке грабителей, как о том свидетельствуют г.г. Скалон и Васильев в своих грозных циркулярах. Отвращение к экспроприациям у массы мирных людей тонет без остатка в безграничном отвращении к бойне, устраиваемой правительством вслед за каждой поимкой.

Относительно сопротивления, которое встретит русская революция, я ошибалась, как оказывается, еще сильнее, чем относительно размеров самого восстания. Обманула меня история. «Буржуазные революции», вызывавшиеся несоответствием между устаревшим политическим строем страны и ее изменившимся общественным состоянием, всюду в новейшей Европе совершались в своем первом фазисе (низвержение старого строя) сравнительно легко, стоили сравнительно мало крови. У нас—теперь уже—можно назвать десятки губерний, из которых в каждой народной крови пролито несравненно больше. И не потому, конечно, легко доставались эти победы, что в то время вооружение не было достаточно усовершенствовано. Войска правительства и тогда были вооружены все-таки несравненно лучше народной толпы. Правящим сферам революционного периода в Западной Европе недоставало другого. Они жили обыкновенно в иной нравственной атмосфере, чем остальное население страны, но все же не на чужбине и не на луне. А живя в стремящейся к освобождению стране они сами не были застрахованы от убеждения в неизбежности переворота в более или менее близком будущем, от сомнений, во всяком случае, относительно возможности прочной победы над начавшейся революцией. Защитникам старого порядка недоставало поэтому решимости бороться до конца, чего бы это ни стоило стране, они не были закованы в достаточно толстую броню, чтобы не могло проникнуть сквозь нее отвращение к длительному кровопролитию, когда всеми потоками крови можно в лучшем случае достигнуть лишь некоторой отсрочки неизбежного конца своего владычества.

Такую приблизительно психологию предполагала я и у нашего правительства [1]). Мне казалось, что я о нем далеко не

[1]) Я допускала даже—считала очень нежелательным, но все же допускала тогда возможность постепенного перехода самодержавия к некоторому подобию конституционализма.

Теперь ясно, что длящееся существование у нас такой конституции, которая оставляет правящим сферам материальную возможность действовать попрежнему, менее возможно у нас, чем что бы то ни было другое. Оно невозможно уже по тому одному, что требует от властителей самого серьезного уважения к закону, самой прочной привычки считать его ненарушимым, нравится он им или перестал нравиться, и применять его, не чувствуя никакого соблазна плевать на закон, во всех тех случаях, когда он стесняет. А мы знаем, что при обратной привычке стесняет решительно всякое подобие закона, всякое общее правило независимо от его содержания. Военно-полевые суды, например, являются, по определению их собственного панегириста Гучкова, простой легализацией карательных экспедиций. Тем не менее уже эта «легализация», предписывая при убийствах соблюдение некоторых правил, оказывается стеснительной и нарушается при каждом поводе. Приговоры военно-полевых судов не могут быть отме-

высокого мнения, а на самом деле я его идеализировала, предполагая у него обыкновенные человеческие свойства.

Десятки лет борьбы с душой своего народа, десятки лет усиленной работы над подавлением его ума и чувства; многолетняя привычка игнорировать все законы, не знать преград своему произволу—ни внешних, ни внутренних—выработали в среде русских властителей необычайные свойства, «сверх-человеческие»—что ли?—во всяком случае нечеловеческие.

В конце-концов то, что делало правительство в последние десятилетия для сохранения безграничного произвола, было—раз цель поставлена—вполне целесообразно: только этими убийственными средствами оно и могло отсрочивать неизбежный переход страны к учреждениям, соответствующим уровню ее развития. Необходимо было также все нечеловеческое коварство, сопровождавшее «дарование» конституции, и все последовавшие неистовства, чтобы сохранить и приумножить в течение «конституционного» года безграничность владычества, как черносотенных героев, между которыми поделена Россия, так и их вдохновителей. Теперь дело уже так далеко зашло, что всякое продление их всевластия должно оплачиваться частичным умерщвлением страны.

* * *

Кроме повсеместного и глубокого потрясения всей страны правительство добивается и, мне кажется добьется, еще одного сходства между Россией XX века и Францией XVIII.

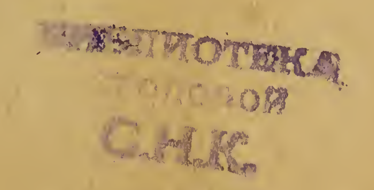
Упразднение старого строя и водворение «царства разума» представлялось для людей XVIII века каким-то жизненным элексиром, исцеляющим все болезни. Водворившись в XIX веке во всем цивилизованном мире, новый политический строй оказался не элексиром, а простой водой. Где воды достаточно, никакого энтузиазма, никаких песнопений она не вызывает, хотя жить без нее невозможно.

няемы, гласит убийственное правило, заранее устраняющее всякие попытки спасти жизнь приговоренных мольбами и ходатайствами или доказательствами их невинности. Но среди сотен смертных приговоров в единичных случаях военно-полевые судьи оправдывают или приговаривают к каторге. При малейшей привычке сообразоваться с законами, каждый генерал-губернатор рассудил бы, что как ни досадны такие случаи, но при ежедневных казнях нарушать закон из-за единичных уклонений от виселицы все же не стоит. При обратной привычке получается обратное рассуждение: не стоит стесняться с законом, если при его соблюдении несколько человек могут остаться неповешенными.

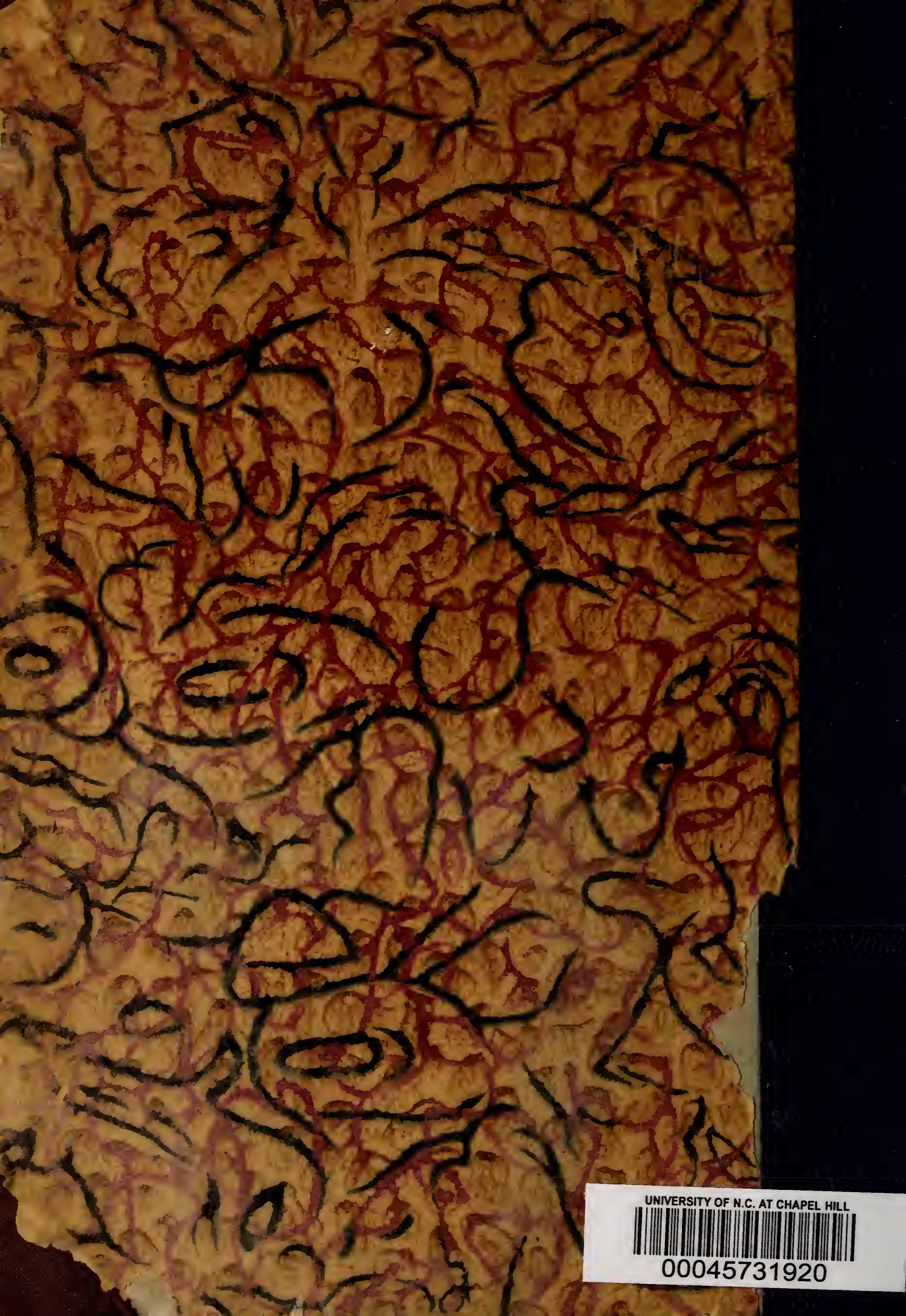
Гонимая и истребляемая—наша революционная (сперва народническая, затем социалистическая) интеллигенция, даже ведя по мере сил борьбу против самодержавного правительства, долго противилась теоретическому признанию ближайшего исторического смысла своей борьбы. Но и признавши, наконец, необходимость борьбы за те политические условия, в которых растут и борются социалистические рабочие партии всех наций, наша социалистическая интеллигенция пыталась... пытается по возможности уже заранее так относиться к нашему будущему, как относится к своему настоящему международный социалистический мир, для которого наши теперешние условия являются далеким прошлым, покрывшимся исторической пылью.

Правительство делает все от него зависящее, чтобы придать «правам человека» всю ту безграничную ценность, какую они имели более 100 лет тому назад. Заставить нас забыть их действительные размеры, придать в наших глазах политической свободе свойства жизненного элексира не может и правительство, но оно сделало, что могло, придав ей безмерную ценность воды в безводной пустыне. Без нее, помимо нее уже ничто невозможно, все превращается в сплошную муку. Правительству удалось приглушить громкие проявления общественной жизни, как рабочих масс, так и всех других слоев населения. Ревут и завывают на поверхности жизни только черные сотни, зарабатывая казенные пособия. Но в своем торжестве правительство выжгло в сердцах и выжигает все глубже и глубже такую ненависть к старому режиму, какой, год тому назад, несмотря на всю ширь подъема, очевидно еще не хватало. Быть может, при беспримерной трудности нашей борьбы, сосредоточение всей жажды, всей ненависти на одном пункте является необходимым условием прочной победы.

Ноябрь, 1906 года.




1 руб


UNIVERSITY OF N.C. AT CHAPEL HILL
00045731920